

ДАНИИЛ МОРДОВЦЕВ

ВЕЛЬМОЖНАЯ
ПАННА. Т. 1

Женские лики – символы веков

Даниил Мордовцев

Вельможная панна. Т. 1

«Public Domain»

около 1900 г.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)

Мордовцев Д. Л.

Вельможная панна. Т. 1 / Д. Л. Мордовцев — «Public Domain»,
около 1900 г. — (Женские лики – символы веков)

ISBN 978-5-486-03991-1

Творчество писателя и историка Даниила Лукича Мордовцева (1830–1905) обширно и разнообразно. Его многочисленные исторические сочинения, как художественные, так и документальные, всегда с большим интересом воспринимались современным читателем, неоднократно переиздавались и переводились на многие языки. Главная героиня романа «Вельможная панна» – Елена Масальская, представительница двух знатнейших польских фамилий: Масальских и Радзивиллов. В восьмилетнем возрасте она оказывается во Франции со своим дядей, бежавшим туда после подавления польского восстания. Из маленькой девочки она превращается в очень образованную, богатую и одну из самых красивых невест Парижа, руки которой добиваются лучшие женихи Франции. Елена становится женой принца де Линя и дарит ему дочь. Этим заканчивается парижский этап ее жизни.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)

ISBN 978-5-486-03991-1

© Мордовцев Д. Л., около 1900 г.
© Public Domain, около 1900 г.

Содержание

| | |
|---|----|
| Часть первая | 6 |
| Глава первая. Невольная беглянка | 6 |
| Глава вторая. Бессознательная доносчица | 10 |
| Глава третья. Жертва светского невежества | 23 |
| Глава четвертая. Школьная революция | 27 |
| Глава пятая. Монастырские послушания | 33 |
| Глава шестая. Гость с далекой родины | 41 |
| Глава седьмая. Маленький сатирик в юбочке | 46 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 49 |

Даниил Лукич Мордовцев

Вельможная панна. Т. 1

© ООО ТД «Издательство Мир книги», 2011

© ООО «РИЦ Литература», 2011

* * *

Часть первая

Глава первая. Невольная беглянка

В бурный декабрьский день 1771 года у ворот первоклассного католического монастыря, аббатства о-Буа (abbaye-aux-Bois), на улице Сэв (Seve), которая после революции переименована была в улицу Сэвр (Sevre), в предместье Парижа Сент-Жермен остановилась карета, из которой вышли: пожилая дама, очень просто одетая, господин представительного вида, в котором легко можно было узнать иностранца, и бледненькая, нежненькая девочка.

Это были довольно важные лица – знаменитая Мария-Терезия Жофрен, князь Масальский Игнатий, виленский епископ, игравший очень видную, хотя двуличную роль в последние годы Речи Посполитой, и маленькая, восьмилетняя княжна, Елена Масальская, племянница епископа.

Госпоже Жофрен было тогда уже 72 года. Это была та историческая женщина, в знаменитом парижском салоне которой в течение четверти века собирались все знаменитые умы и таланты Франции. Тут являлись: Даламбер, знаменитейший французский математик и издатель всемирно известной «Энциклопедии»; Дидро, не менее знаменитый энциклопедист, как и Гольбах, тоже гость госпожи Жофрен; Бернанден де Сент-Пьер, бессмертный автор романа «Поль и Виргиния»; Мармонтель; а также иностранцы – Гиббон, знаменитый автор «Истории падения Римской империи», Вальполь и другие. Салон госпожи Жофрен пользовался таким общественным и политическим влиянием, что дружбы этой замечательной женщины искали короли и императоры: прусский король Фридрих II (Великий), король польский Станислав-Август Понятовский, австрийский император Иосиф II, императрица Екатерина II и другие.

Виленскому владыке, князю Игнатию Масальскому, было в то время только 42 года. Обрекши себя безбрачием, он 33-х лет был уже епископом. Старший же его брат был женат на княжне Радзивилле, девице из знатнейшей польской фамилии. От них-то и родилась княжна Елена, привезенная теперь с далекой родины в аристократический монастырь парижского предместья. Бедная сиротка не по своей воле должна была покинуть Польшу и надолго укрыться в монастырском уединении. Дядя ее, князь Игнатий, будучи замешан в польском восстании последнего года, едва успел бежать во Францию, захватив с собой сирот, княжну Елену и ее брата, юного Ксаверия Масальского.

Князь-епископ, по свидетельству современников, был человек очень образованный, много знал основательно, усваивая легко и быстро необходимые сведения. Сильно впечатлительный и подвижный, он был в то же время до крайности легкомыслен и непостоянен. Его рисуют как страстного игрока, который в три года проиграл более 100 тысяч дукатов (около 300 тысяч рублей) и потому постоянно нуждался в деньгах, хотя род Масальских владел обширными и богатейшими земельными имуществами и замками. Стремительный и быстрый в своих решениях, он, однако, постоянно колебался в их исполнении и, по природе несколько трусливый, иногда бессознательно впадал в противоречия с правилами, которые проповедовал.

Фамилия Масальских была одною из знатнейших в Литве, где постоянно соперничали два могущественнейших дома, Масальские и Радзивиллы. Первые поддерживали партию Чарторыжских и помогли Екатерине II возвести на польский престол бывшего фаворита ее Станислава-Августа Понятовского, родственника Чарторыжского, этих заклятых врагов рода Радзивиллов, энергично защищавших древнюю свободу Речи Посполитой.

Масальские, как и множество польских панов-вельмож, жили в ту пору настоящими царьками. Они имели при себе своих «шамбелянов», содержали целые толпы ловчих, оруже-

носцев и гайдуков. Виленский епископ содержал за свой счет целую армию в 16 тысяч драгун и казаков. Князь Радзивилл, тоже дядя юной Елены, получал 10 миллионов ежегодного дохода и содержал двадцатитысячное войско, расквартированное по принадлежавшим ему городам и замкам. В одном из костелов в его имении стояли 12 золотых статуй апостолов по 1,5 фута вышины. Когда русские войска разбили поляков, Радзивилл успел переправить своих золотых апостолов в Мюнхен и, долго проживая там на выручку с литого золота апостолов, кормил еще множество соотечественников, бежавших с родины.

В 1774 году, перед избранием на престол Станислава-Августа, соперничество между Масальскими и Радзивиллами дошло до крайней степени. Избирательные по воеводствам сеймики, окруженные войсками Масальских, были вынуждены подавать голоса за кандидата России, Понятовского. Взбешенный Радзивилл во главе своих 200 головорезов, с которыми он не разлучался и которые были ужасом страны, ворвался во дворец епископа и пригрозил ему смертью. Но епископ скоро опомнился от столбняка, приказал бить в набат и, немедленно собрав вооруженный народ, выгнал Радзивилла из Вильны.

Скоро, однако, все изменилось в Польше. Патриоты возненавидели короля, ставленника России. Завязалась знаменитая «Барская конфедерация» против короля, и тот же Масальский, едва не погибший из-за него от руки Радзивилла теперь вместе с Пулавским и Огинским стали во главе конфедерации.

Но было уже поздно!

Через четыре года после избрания Станислава-Августа, в то время, когда конфедераты в порыве патриотического увлечения уже мечтали воскресить старую Польшу с ее державными сеймами, с излюбленными «veto» и «pięrozwalam», украинские гайдамаки с Железняком, а потом с Гонтою, уже пронесли ураганом с дымом пожаров и потоками крови по владениям польских панов-магнатов.

– Гинет Польша! Гинет!.. Смелянщина и Лисянщина кровью подплывают!..

А русские войска с Кречетниковым покончили начатое гайдамаками, да и с ними самими, кровавой бойней в Кодне.

Огинский, разбитый русскими, бежал, спасаясь в Кенигсберге. Князь-епископ Масальский, захватив маленькую Елену и юного Ксаверия, тоже бежал в Париж.

«Елена и Ксаверий с детской беспечностью, – говорит Люсьен Перей, историк этой самой Елены, впоследствии принцессы де Линь, а потом графини Потоцкой, – охотно последовали за дядей в восторге, что покидают страну, где они не видели никого, кроме страшных солдат, зверский вид которых пугал их».

Едва беглецы перебрались за польскую границу, как князь-епископ прочел в голландских газетах:

«Майор Салтыков во главе русских отрядов занимает Вильну и взял под секвестр все имущество, принадлежавшее епископскому трону. Всю же движимость, составлявшую часть этих имуществ, непосредственно захватил и отправил в столицу. Что же касается личных и родовых имений князя-епископа, то они должны поступить в административное ведение новгородского кастеляна».

Много дней продолжали путешествие наши беглецы до Парижа: не те, что ныне, были в то время пути сообщения в Европе. Елена, как она призналась потом в своем детском дневнике, даже несколько разучилась свободно говорить по-французски, хотя дома получила прекрасное воспитание с обязательным для юной аристократки светским французским языком. Дорогой, конечно, епископ, как польский патриот, а за ним и дети, говорили между собой по-польски, а потому от недостатка практики Елена несколько отвыкла говорить языком Расина и Руссо.

Наконец они в Париже.

Первым долгом князя-епископа по прибытии в столицу Франции было сделать визит госпоже Жофрен, с которой он познакомился во время ее недавнего пребывания в Польше.

Масальский знал, что знаменитая француженка имела большое влияние на Станислава-Августа, и потому через нее надеялся положить предел своему изгнанию из отчизны и освободить от секвестра свои имения.

Госпожа Жофрен, несмотря на свою обычную осторожность и боязнь вмешиваться в чужие дела, взяла, однако, епископа под свое покровительство и написала Станиславу-Августу.

Вот ее письмо от 17 ноября 1771 года:

«Виленский епископ в Париже, где он предполагает жить. Он привез ко мне двух детей, племянницу и племянника, и просит, как милости, чтоб я их устроила. Я поместила девочку в монастырь, а мальчика в коллегию...»

Ясно, что в этом первом напоминании об епископе госпожа Жофрен, верная своему благородию, не компрометирует себя. Она ограничилась только заявлением, что видела епископа и потом ожидает, как посмотрит на это король.

Кажется, что Станислав-Август не выразил по этому поводу неудовольствия, и потому следующее письмо госпожи Жофрен было смелее первого.

«Умоляю Ваше Величество, – писала она 13 января 1773 года, – почтить хоть несколькими милостивыми словами бедного виленского епископа. Он – ребенок, но ребенок добрый, который любит Вас. Уверяю Вас, что он не сделал ни одного преступного шага с тех пор, как живет в Париже. Он единственный поляк, которого я вижу, и он боится меня, как огня: я решительно запретила ему говорить о делах Польши с кем-либо из соотечественников, и я уверена в его повиновении. Я дала ему в услужение аббата Бодо и полковника Сент-Ле (Saint-Leu), которые и состояли при его особе».

Довольно пожившая на своем веку, госпожа Жофрен научилась узнавать людей. Хорошо узнала она и Станислава-Августа. Как историк по документам проникает в душу исторического деятеля, так госпожа Жофрен проникла в душу польского короля личными наблюдениями, на что особенно способны умные женщины.

– От природы, – говорит историк, – Станислав-Август получил счастливую память, живое воображение, блестящий, но никак не глубокий ум. Он способен был на остроумные выходки, бегло и складно говорить, особенно в том кругу, где ему верили и ценили его слова, в совершенстве владел несколькими европейскими языками, читал и просматривал много книг, много видал во время своего путешествия по Европе, посещал общества тогдашних европейских знаменитостей и потому в высокой степени набрался того лоску (pology), за которым польские паны ездили по Европе. Поэтического уклада в их натуре не было, но он любил до страсти искусства и знал в них толк, насколько наслышался и начитался о них. Еще более он был любитель и ценитель прекрасного пола и в отношении к нему отличался чрезмерным непостоянством и ветреностью. До сих пор в Лазенковском дворце, им построенном, показывают целую стену портретов любовниц последнего польского короля. Переменяя их, как наряды, он был, однако, внимателен к их услугам и, уволив их от своего сердца, давал им большие пенсии и тем увеличивал свои расходы и долги. Вообще, в нем не было ни тени скупости; щедрый для других и расточительный для себя, он любил сам пожить в свое удовольствие, любил и вокруг себя видеть веселые и довольные лица.

Нравом он был мягок и кроток: не видно в нем было того самодурства, которым так часто отличались и даже чванились польские паны, избалованные своим богатством и раболепством пред собою других. Воспитанный до шестнадцатилетнего возраста под надзором матери, он носил на себе тот отпечаток женственности, который часто остается на тех, которые в отрочестве испытывали сильное влияние мамушек и тетушек; притом же европейские привычки, усвоенные в путешествии, не позволяли в нем укорениться полуазиатским признакам польской мужественности. В обращении он был до того любезен, что принц де Линь признал его любезнейшим паче всех государей своего времени. Эта любезность не мешала ему в то же время быть двоедушным, хитрым, недоверчивым; зато в затруднительных положениях для своего ума

и воли он был даже чересчур доверчив. Обладая свойством обвораживать и привлекать к себе людей, он не умел привязывать их, не в силах был возбуждать их и управлять ими, напротив, сам подчинялся нравственному могуществу других и всегда почти зависел от окружающей его среды.

Так поняла его и госпожа Жофрен.

Глава вторая. Бессознательная доносчица

Возвратимся к маленькой Елене, которую мы видели вступившею в монастырь аббатства о-Буа.

Два монастыря оспаривали в то время друг у друга привилегию воспитания знатных девочек: Пантемон (Rantemont) и аббатство о-Буа. Сент-Сир вышел из моды и, притом, основанный госпожой Ментенон, был предназначен для бесплатного воспитания девочек благородных, но бедных родителей. Девочки же знатных и богатых фамилий отдавались в два вышепоименованных монастыря.

Во второй из них и поместили юную княжну Елену Масальскую. Монастырь этот основан был в епархии Нонон в царствование Людовика le Gros и принадлежал к ордену Сито.

В то время, когда юная полька вступила в монастырь, им управляла госпожа Мари-Магдалина де Шабрильян, которая наследовала госпоже Ришелье, сестре знаменитого маршала, победителя гугенотов, взявшего штурмом крепость ла Рошель, где они укрывались.

Все дамы, на которых возложено было воспитание пансионеров монастыря, принадлежали к высшему дворянству, и сами воспитанницы носили знатнейшие фамилии королевства. И, как ни странно, в воспитании применилось практическое ознакомление с домашним хозяйством, начиная с уборки монастырских помещений и кончая кухней.

Музыка, танцы (это в монастыре-то!) и рисование преподавались с особенным усердием. В аббатстве имелся прекрасный театр и при нем костюмы, изящнее которых и пожелать нельзя было. Молье (Mole) и Лярив (Larive) преподавали воспитанницам декламацию и выразительное чтение, балами дирижировали Новерр, Филипп и Доберваль – первые танцоры парижской оперы. Все профессора не принадлежали к аббатству, кроме преподавательниц ботаники и естественной истории. Другие дамы надсматривали только над работами пансионеров и присутствовали при уроках.

В дневнике, который наша маленькая героиня начала вести в 1773 году, десяти лет, и которому она дала громкое название «мемуаров», она так описывает свое вступление в монастырь:

«Я вступила в аббатство о-Буа в четверг. Госпожа Жофрен, друг моего дяди, ввела меня тотчас в монастырскую приемную, или разговорную, госпожи аббатисы, красивую комнату, блиставшую белыми обоями с золотыми разводами. Госпожа Рошшуар (Rocheschouart) пришла также в приемную, и мать Катр-Тан (Quatre-Temps) тоже, потому что она была главной наставницей первого класса».

Далее с очаровательной наивностью Елена описывает, как о ней, в ее присутствии, говорили госпожи Рошшуар и Катр-Тан.

- Какое милое личико! – говорила одна.
- И прекрасная талия! – соглашалась другая.
- А волосы – роскошь!

«Я ничего не отвечала, – отмечает в своих «мемуарах» маленькая полька (хотя все понимала), – потому что в дороге я разучилась говорить по-французски, так как путешествие наше было слишком продолжительно: мы проехали, не знаю сколько городов, всегда с почтой, которая постоянно трубила в охотничий рог».

Понятно, что хитрая девочка, понимая, что о ней говорили, стояла, потупив лукавые глазки, вся залитая румянцем.

Потом девочку подвели к решетке, чтобы показать госпоже Жофрен. А затем повели в покои аббатисы, которая была в бело-голубом атласе, такая величественная, и сестра Криспор провела девочку переодеться в пансионное платье.

«Увидев, – говорит Елена, – что оно черное, я так сильно расплакалась, что жалко было на меня смотреть».

И маленькая кокетка утешилась только тогда, когда ее украсили голубыми лентами, а затем угостили конфетами.

– Каждый день ты будешь это кушать, – сказали ла-комке.

Елену все ласкали. А большие дежурные пансионерки перешептывались:

– Бедняжка не знает по-французски... Заставим ее говорить по-польски, чтобы услышать, что это за язык.

Елена видела, что над ней посмеиваются, но не хотела говорить.

– Она приехала из такой далекой страны, из Польши.

– Ах, как смешно быть полькой!

Одна из девиц, по фамилии Монморанси, посадила Елену к себе на колени и спросила:

– Хочешь, чтобы я была твоей маленькой мамой?

Девочка кивнула головой в знак согласия, все еще упорно не желая говорить. Она разговаривает сама с собой одной лишь ей понятными звуками, но на людях пользуется языком жестов, пока не научится говорить, как все, – «comme tout le monde», – прибавляет она.

Девушки обступили новую мадонну с младенцем на руках. Они кричали наперерыв:

– Ну, ну, полька, скажи, хорошенькая твоя эта новая мама?

Елена подняла руку к глазам: ей понравились ласковые взоры девушки.

– Моя фамилия Монморанси, – сказала последняя.

Между тем Елене сказали, что ее дядя, князь-епископ, в «говорильной» и желает ее видеть в монастырском одеянии, в форме.

Девочка пошла туда. Госпожа Жофрен была вместе с епископом. Форма им понравилась, и, немного поговорив, гости удалились, поручив Елену вниманию монастырских дам.

Тогда аббатиса и госпожа Рошшуар старались заставить упрямую дикарку разговориться, но совершенно напрасно. Госпожа Рошшуар позвала Монморанси и сказала ей:

– Рекомендую вам, душечка, это дитя. Она – маленькая иностранка и с трудом понимает по-французски. У вас доброе сердце, проводите ее в класс и постарайтесь, чтоб ее не мучили. Вам ведь легко устроить ей хороший прием.

Но когда попросили сказать ее имя, то госпожа Рошшуар никак не могла его вспомнить.

«Тогда я сказала ей мое имя, – говорит Елена в дневнике, – но его все нашли смешным, и я решила никогда не произносить своей фамилии».

– Но какое имя дано вам при крещении? – спросила Рошшуар.

– Елена, – отвечала молодая полька.

– Тогда я и представлю вас классу под именем Елены, – решила Монморанси.

«Мы отправились, – говорит далее Елена. – Была перемена. Меня увидела мадемуазель Нарбонн, которая заглядывала в приемную, когда я там была, и закричала подругам, которые по случаю дождя гудели, как пчелы в монастыре Душ (des Ames)»:

– Mesdames, вот маленькая дикарка, которая не хочет говорить, но премиленькая!

Все бросились было смотреть на новенькую, да еще «дикарочку», но Монморанси подвела ее к учительницам, и те расцеловали ее. Затем весь класс окружил новенькую, и со всех сторон посыпались вздорные вопросы.

«Но я не сказала ни слова, – поясняет упрямая девочка, – чтобы они могли подумать, что я совсем немая».

Тогда мадемуазель Монморанси, этот своего рода Вергилий маленькой польки, попросила у главной наставницы «голубого» класса позволения показать Елене все монастырские кельи «послушания», и мать Катр-Тан позволила ей это. Обход совершился с шумной свитой пансионерок. Все монахини и «красные» пансионерки очень ласкали Елену и дарили ей кто подушку для иголок и булавок, кто конфету. Елена была очень довольна.

Настало время ужина. Еленин Вергилий, Монморанси, повела девочку в класс, где мать Катр-Тан взяла ее за руку и, введя в столовую, посадила рядом тоже с «новенькой», с мадемуазель Шуазель, с которой юная полька очень подружилась.

«За ужином Шуазель говорила со мной, – пишет Елена в своих «мемуарах», – и я осмелилась отвечать ей».

Тогда Шуазель закричала:

– Маленькая полька говорит по-французски!

Елена уверяет, что Шуазель очень хорошенькая.

– Слушай, Елена! – сказала после ужина Шуазель. – Вечером во время переключки мы должны просить мадам Рошшуар назначить нам день для рекреации и для угощения нас, а я настою, чтобы нам это позволили.

Между тем начались разные игры веселых и беззаботных школьниц. Особенно воодушевляло всех «избиение младенцев», сшибание мячиком кукол.

Затем все шалуньи двинулись в дортуар монахинь. Переключку делала госпожа Рошшуар; Елену называли последней.

«Я приблизилась вместе с мадемуазель Шуазель, – говорит Елена. – Она просила от моего имени о рекреации».

Рошшуар обратилась к Катр-Тан.

– Необходимо предупредить дядю мадемуазель Елены об этом. Что будет стоять хорошее угощение всех детей?

– Не менее двадцати пяти луидоров.

– И с мороженым?

– Конечно, с мороженым.

– В субботу рекреация! Рекреация! – загудел весь пчелиный улей.

– И с мороженым!

Девочки скакали, как безумные, бросались друг к другу, размахивали руками. Было немало хлопот воспитательницам, чтобы уложить их. Но и в постелях они долго не могли успокоиться, тихо перебрасываясь оживленными фразами и стараясь подавлять взрывы детского хохота. Потом мало-помалу все затихло: здоровый детский сон победил общее возбуждение. В обширном дортуаре воцарилась тишина; и только легкий полусвет лампад тихо лился на спящие детские головки, на кроткие личики.

Елена поступила в «голубой» класс, состоявший из девочек большею частью от семи- до десятилетнего возраста. Девочки же в возрасте от пяти до семи лет, которые массаами воспитывались в аббатстве, в классы не ходили и жили отдельно на попечении монахинь.

«По понедельникам, средам и пятницам, – заносит в свои «мемуары» преважно десятилетняя писательница, – вставать летом в семь часов, зимой – в семь с половиной. В восемь быть в классе на своих скамьях в ожидании госпожи Рошшуар, которая приходила в восемь».

И тогда в классе слышалось нечто, напоминавшее гудение шмелей и пчел: это девочки зубрили вслух «Монпельезский катехизис» и повторяли пройденное.

Далее «мемуары» умненькой крошки знакомят нас с распределением занятий учащихся.

«В девять часов завтракали. В девять с половиной у них „месса” (обедня). От десяти до одиннадцати – чтение. От одиннадцати с половиной – урок музыки. С одиннадцати с половиной до двенадцати – рисование. С двенадцати до часу – урок географии и истории. В три-четыре часа – чистописание и арифметика. С четырех до пяти – урок танцев, потом закуска и отдых до шести часов. От шести до семи – игра на арфе или клавесине. В семь – ужин. В девять с половиной – в дортуар.

Страшное однообразие!

В другие дни – то же, но только учили не приходящие преподаватели, а дамы аббатства, руководившие шитьем девочек и другими женскими рукоделиями.

По воскресеньям и по праздникам, а праздников было множество, как и у нас, православных, воспитанницы отправлялись в церковь к обедне в восемь часов, слушали Евангелие, которое читалось перед обедней, а в одиннадцать часов воспитанницам читались батюшками краткие поучения. В четыре часа – вечерня».

Добросовестная десятилетняя писательница дает нам и портреты воспитательниц «голубого» класса, портреты, как выражается историк Елены, Люсьен Перей, «набросанные с непочтительной краткостью».

«Госпожа Монлюк, так называемая матушка Катр-Тан, добрая, мягкая, заботливая, суетливая и ввязывающаяся во всякие мелочи.

Госпожа де Монбуршет, прозванная Сент-Макэр, добрая, но скотина, необыкновенно безобразная и верует в привидения.

Госпожа де Фрэн, прозванная Сент-Бальтид, безобразная добруха, любящая рассказывать сказочки».

Каков маленький сатирик, эта ядовитая полечка!

«Голубому» классу прислуживали пятнадцать послушниц.

Хотя Елена находилась в классе маленьких, однако ее временно поместили в дортуар больших, что последним очень не нравилось: и они имели на то право, как окажется ниже.

Елена заболела расстройством желудка от парижской воды. К ней пригласили знаменитого Порталья, лейб-медика Людовика XV и всех королей до Карла X, профессора анатомии, президента медицинской академии, друга Бюффона и Франклина. Порталь прописал Елене порошки, и госпожа де Сент-Бальтид, третья наставница «голубого» класса, вместе с одной из послушниц приходила в свое время давать девочке лекарство. Но однажды она забыла это сделать. Между тем большие воспитанницы достали откуда-то пирог и, пользуясь отсутствием надзора, решили устроить в дортуаре банкет, для чего и притворились спящими. Их и оставили в покое. Лакомки тотчас повскакали с постелей...

На беду госпожа Сент-Бальтид вспомнила, что забыла дать лекарство Елене, и воротилась в дортуар.

Лакомки опять притворились спящими.

Но вот госпожа Сент-Бальтид ушла. Дверь дортуара заперли, и пирог опять появился на сцене. Началось пиршество. Елене тоже захотелось вкусного пирога, вероятно, страсбургского.

– Дайте и мне! – запищала она. – А если не дадите, я все расскажу.

Тогда мадемуазель д'Экилли отломилла порядочный ломоть пирога с коркой и подала Елене.

Елена, как сама сознается в дневнике, с жадностью съела (je devorais) свой ломоть.

Но кроме пирога у барышень нашелся еще и сидр. Началась попойка.

– И мне и мне! – кричала Елена.

– Нельзя тебе: ты принимала лекарство! – сказала мадемуазель Рош-Эймон и дала ей пинка.

Тогда Елена принялась так громко плакать, что барышни испугались, как бы не явились в дортуар надзирательницы. Чтобы заставить несносную польку замолчать, дали ей стакан сидру.

– И я его залпом выпила! – признается маленькая пьяница.

Утром же истряслась над нею беда. С ней сделалась горячка. Больную девочку должны были поместить в лазарет. Она горела в бреду. Затем – гнилая горячка. Маленькая полька была чуть не при смерти, пролежав в лазарете два месяца.

И все это наделали пироги и сидр...

После такой истории решили, что нежное сложение девочки не выносит общего воспитания. Списались с дядюшкой. Он разрешил ничего не жалеть на расходы. И Елене отвели особое помещение, приставили к ней бонну, горничную и няню. У нее завелась и своя кошечка, серенькая Гриз (Седка).

Елена зажила отлично, как и подобало ребенку знатного и богатого рода.

«Моя бонна мадемуазель Батильда Тутвуа полюбила меня до безумия, – пишет юная полька в своих пресловутых «мемуарах». – Она отвела мне прекрасные комнаты и ассигновала по четыре луидора в месяц для моих удовольствий. Мой банкир, господин Туртень, получил приказ от моего дяди отпускать для меня до 30 тысяч ливров в год, если это необходимо».

Но скоро между Еленой и ее бонной пробежала кошка, впрочем не черная, а серая.

И бонна и Елена чрезвычайно любили свою Гриз. Она не царапалась и только в крайних случаях кричала благим матом.

Такой крайний случай скоро представился. Однажды Елена и ее приятельница, мадемуазель Шуазель, забравшись в укромный уголок, на ступеньках лестницы, ведущих к еще более укромному местечку, стали лакомиться орехами. Пришла и общая любимица Гриз, ласково мурлыча и держа хвост трубой.

– Давай обуем кошечку! – пришла счастливая мысль Елене.

– Отлично!.. Только во что? – спросила Шуазель.

– А в ореховые скорлупы.

– Ах, как это весело, милая Елена!

Веселье, однако, кончилось слезами.

У шалуни Шуазель нашлась подходящая ленточка, которою приятельницы и воспользовались, чтобы обути серенькую кошечку в ореховые скорлупы. Гриз обута. Но она не могла стоять на лапках. Это так понравилось шалуням, что они стали неудержимо хохотать. Хохот их услышали Еленина бонна и госпожа де Сент-Моник: они прибежали к шалуням. Увидев кошечку в таком жалком положении, бонна чуть не расплакалась, сильно накричала на девочек и послала их в класс.

«Но это еще не все, – говорит в своих «мемуарах» маленькая полька. – Гриз всегда спала со мной на постели, у меня в ногах: бонна находила, что этим согреваются мои ноги. В этот вечер, когда бонна уже уснула, а я еще сердилась на кошку за то, что по ее милости меня обругали, я стала давать ей пинки ногами так, что она соскочила с постели и улеглась в камин. Высунув голову из-за занавески, чтобы посмотреть, что делает моя Гриз, я вдруг увидела два сверкающих глаза в камине. Мне стало страшно: я подумала, что если я проснусь ночью и увижу эти глаза, уж не знаю, что и будет со мной. Тогда я встала, взяла кошку и, не зная, куда ее сунуть, тихонько отворила шкаф и бросила ее туда».

Понятно, что кошка подняла такое отчаянное мяуканье и жалостный плач, что бонна проснулась и вскочила, не зная, что случилось. Обыскавши спальню, она наконец нашла узницу в шкафу.

Боясь, что ей опять достанется, Елена начала лгать, отпираться:

– Разве я это сделала? Гриз сама туда забралась.

– Хорошо же! – сказала бонна. – Если ты так мучишь бедную кошечку, то я завтра же отдам ее в другие руки.

Тогда начались такие вопли, которые способны были всполошить ближайшую половину аббатства. И действительно, на рев Елены с разных углов сбежались ее приятельницы, мадемуазель Шуазель и Конфлян, а также их и Еленины горничные, осыпая проказницу вопросами. Елена жаловалась им, что она несчастнейшее существо в мире; что ее бонна хочет отдать кому-то ее кошечку, но что она не может жить без Гриз; что пусть возвратят ей ее любимицу, и она будет просить у нее прощения.

«Я не успокоилась, – говорит мудрый автор «мемуаров», – пока мою Гриз не положили опять на постель. Я схватила ее на руки, обнимала, целовала ей лапки и обещала, что никогда не будет ничего подобного. Тогда моя бонна сказала, что она согласна оставить мою Гриз, но что утром же я, кроме сухого хлеба, ничего не получу на завтрак. И я была необыкновенно

счастлива, что так дешево отделалась. Тогда все возвратились к себе, и я наиспокойнейшим образом провела всю остальную ночь».

Еще бы! Она чувствовала своими босыми ножками теплоту ее мягкой, как шелк, кошечки.

* * *

Спустя некоторое время юную польку повели к первой исповеди.

Дом Фемин, духовный отец пансионерок, несколько дней преподавал Елене тайны католичества, после чего велел ей уединиться и размышлять о «повиновении». Затем последовала сама исповедь, а также и отпущение грехов. А грехи восьмилетней грешницы были тяжкие. Чего стоили проделка с кошечкой, тайное лакомство страсбургским пирогом и питье сидра!..

С исповеди маленькая грешница возвратилась к себе очень усталая, но с необыкновенно важную, торжественную миной: она чувствовала себя «большой».

С очаровательной наивностью она говорит далее:

«Вечером сестра Бишон пришла повидаться с моей бонной; и в то время, когда девица Жиуль, моя горничная, раздевала меня, сестра Бишон просила меня упомянуть ее в моих молитвах».

– Чего желаете вы, чтоб я просила для вас у Боженьки (au bon Dieu)? – спросила Елена.

– Попросите у Боженьки, чтоб он сделал мою душу такую же чистой, как ваша в эту минуту, – отвечала сестра Бишон.

Елена, раздевшись на ночь, стала на молитву.

– Господи! – молилась она вслух. – Соблаговолите (французы с Господом Богом не иначе как на вы), чтобы душа сестры Бишон была бы такая же белая, как моя должна быть в моем возрасте, если я воспользуюсь добрыми уроками, мне преподаанными.

«Моя бонна пришла в восторг, – пишет Елена, – когда я произнесла эту молитву, и обняла меня, равно как и сестра Бишон, и девица Жиуль, моя горничная, и моя няня Клодин. Когда же я легла в постель, то спросила: не будет ли грехом помолиться и за мою кошечку?»

– Нет, нет! – воскликнули разом и бонна и сестра Бишон. – Не следует молиться за кошечку Боженьке.

Когда девочка не могла тотчас заснуть, конечно, вследствие пережитых за этот день волнений, сестра Бишон подошла к ее постели и сказала:

– Если вы умрете в эту ночь, то прямо пойдете в рай.

– А что такое «рай»? – спросила Елена.

– Вообразите, мой цыпленочек, рай – это огромная комната, вся в алмазах, рубинах, изумрудах и других драгоценных камнях, – отвечала всезнающая сестра Бишон. – Боженька восседает на престоле; Иисус Христос – по правую сторону от Него, а всеблаженная Дева – по левую сторону; Дух же Святой сидит у нее на плече, а все святые проходят через рай и опять возвращаются.

Какое знание небесных обитателей и райской обстановки!

Елена широко раскрыла глаза, как бы перед дивным видением. Потом она прищурила их, точно не вынося солнечных лучей на ярком свету, и затаила дыхание, вся превратившись в слух. Еще несколько минут, и дыхание ее стало ровное, глубокое. Девочка спала безмятежным сном, с нежною, блаженной улыбкой на полураскрытых губках.

Вообще маленькой польке жилось хорошо в аббатстве. Она была из привилегированных, всем обеспечена; ее все ласкали и баловали, как сиротку, заброшенную в чужую страну. Но немало испытала она детских огорчений, особенно в начале своего пребывания в монастыре, пока не вошла в колею общей жизни аббатства, жившего по раз данному уставу. Пользуясь собственным уголком, она с десяти лет пристрастилась к составлению своих «мемуа-

ров», подражая подружкам. Многие считали это чем-то обязательным, потому что «мемуары» были в моде у девиц высшего света. Почти не учившаяся писать, Елена выводила в своих «мемуарах» невозможные каракули, которых иногда сама не могла разобрать. Это портило и без того плохой почерк. А аббатство шеголяло красивыми почерками: это входило в «talents d'agre-ment» (таланты для украшения) большого света. Оттого учитель чистописания, господин Шарм, и мучил юную польку, и, не видя от нее успехов, заладил, чтобы она писала «о».

Безжалостные пансионерки смеялись над ней.

– Полька никогда не будет уметь подписывать свою фамилию, – вышучивали они иноземку.

Но ее приятельница Шуазель сжалилась над нею.

– Ну что ты корпишь над этой дрянью! – говорила Шуазель. – Никогда у тебя не будет «о»: все только пузатые бочонки. А уж про другие буквы и не говори. Давай я тебе навалю. А ты дай конфет.

– С удовольствием! – обрадовалась неудачная каллиграфистка.

Она могла покупать сластей сколько угодно на 30 тысяч ливров годового дохода.

Так и состоялась сделка: вместо Елены писала Шуазель. Все шло, по-видимому, хорошо, но маленькие заговорщицы не обманули прозорливого каллиграфа, господина Шарма. Он пожаловался матушке Катр-Тан. Призвали Елену.

– Мадемуазель Massalsca! – сказала матушка. – Посмотрите: это вы писали? Правда?

– Правда, мадам, – не сморгнула глазом маленькая лгунья. – Это писала я.

– Если вы, то напишите сейчас при мне вот это, – сказала Катр-Тан.

Она разлиновала лист бумаги и вывела наверху красиво и крупно: Massinissa, roi Numidie.

К несчастью, из всего алфавита М и N были главными врагами Елены, а тут еще четыре вычурных и изворотливых S! Было отчего прийти в отчаяние!

Можно себе представить, что вылилось из-под пера хорошенькой лгуньи. Все буквы представляли вид веселой, подвыпившей компании, возвращавшейся из кабака под руки.

Матушка взяла перо из рук Елены, сложила бумагу, полезла в шкаф, а на голове княжны Масальской выросли бумажные ослиные рога. Мало того! Княжна Масальская оказалась лгуньей, а потому на спине княжны появилась монашеская эмблема лганья – красный бумажный язык, к которому пристегнули ее замечательное каллиграфическое произведение.

Как после этого было не обессмертить в своих «мемуарах» матушку Катр-Тан, как «ввязывающуюся во всякие мелочи», хотя бы, например, в каллиграфию княжны Масальской!

– Я потому дурно писала, что мне толкали стол! – злобствовала маленькая полька.

– Это клевета! – отрезала матушка, «ввязывающаяся во всякие мелочи».

И княжне Масальской пожаловали новый орден, черный бумажный язык, эмблема «черной клеветы»!

«Но хуже всего, – признается злополучная Елена, – это то, что госпожа Рошшуар, которой я начинала нравиться и которая стала относиться ко мне ласково, войдя утром в класс и увидев меня с моими украшениями, сказала, чтобы я вечером, в шесть часов, пришла к ней в ее келью.

Это было ужасно! Надлежало проходить через все классы с ненавистными рогами и языками.

Время, однако, приближалось, – заносит бедная сиротка в свои „мемуары“. – Но как показаться в таком виде! Я желала лучше умереть... Хороша я была с рогами, с двумя языками, с листком пачкотни за спиной! И вот, когда матушка Катр-Тан сказала мне, что мне должно идти к главной начальнице, я не двинулась со своего места: я плакала так, что мои глаза готовы были выскочить из головы. Шуазель также плакала. Все классы жалели меня, только „белый“ класс издевался надо мной. Когда же матушка Катр-Тан увидела, что я не намерена повиноваться, то прибавила мне еще, сверх того, „орден бесчестия“ (le cordon d'ignominie). Потом она велела позвать двух сестер-послушниц, сестру Элуа и сестру Бишон, которые взяли меня за

руки, стащили со скамьи и провели до дверей кельи госпожи Рошшуар. Когда я вошла, то впала в такое отчаяние, что готова была отдать жизнь за ничто. При моем входе госпожа Рошшуар вскрикнула и (конечно, удерживаясь, чтобы не расхохотаться) сказала:

– Ах мой бог! Вы похожи на ряженую на Масленице! Ну, что вы такое сделали, чтоб заслужить это? Ведь вас лишили человеческого образа!

Тогда я бросилась к ее ногам и рассказала ей мои вины. Я видела, однако, что она с величайшим трудом удерживалась, чтобы не расхохотаться, а между тем говорила с суровым видом:

– Ваши вины слишком велики, и ваше наказание не вполне достаточно.

Тогда она велела войти сестрам-послушницам, которые оставались за дверью, и сказала им:

– Я приказываю, чтобы мадемуазель Елена была возвращена в класс, и чтобы она восемь дней была лишена десерта. Скажите главной наставнице „голубого” класса прийти ко мне.

Восемь дней без десерта – ужасное наказание, достойное драконовских законов!..»

«Затем, – продолжает несчастная мученица, лишённая десерта, – госпожа Рошшуар спросила еще, не встретила ли я кого-нибудь, идя к ней?

Я сказала, что встретила господина Борде, доктора, и герцогиню де Шатильон, которая шла повидать одну из своих дочерей, больную. Меня отвели в класс... Потом, спустя несколько времени, я слышала от „красных” воспитанниц, будто госпожа де Рошшуар говорила, что глупо было так шутовски наряжать меня. Прибавляли, что она намылила голову матушке Катр-Тан и просила ее наказывать пансионеров, не обезображивая их. Несколько дней тому назад она зашла в класс и думала, что видит египетских идолов, увидав пятерых или шестерых из нас с рогами и тройными языками. А так как аббатство всегда наполнено посторонними, то это может бросить смешную тень на воспитание пансионеров. С этого времени такие наказания были запрещены; и провинившихся ставили уже на колени посреди хора, давали за завтраком сухой хлеб или же во время отдыхов, „рек-реаций”, заставляли списывать „Привилегию” короля, что было очень скучно».

Так добросовестно повествует о своих злоключениях маленькая преступница, когда ей было всего только восемь лет. Казалось, политические злоключения ее родины, которую тоже обували в своего рода ореховые скорлупы, постигали и маленькую польку на чужбине.

Впрочем, лишение десерта, ставление на колени, сажание на пищу святого Антония, всухомятку, все такие наказания мало смущали юных преступниц. На коленях – своя жизнь и даже развлечение: то надолго растянуться на полу, под видом земных поклонов в глубокой, усердной молитве; то хватать за ноги проходящих подруг и тихонько рычать. А сухой хлеб быстро оказывался в соседствах с котлеткой или ножкой цыпленка, выглядывавшими из-под передников сердобольных подруг. Девушки трепетали только перед единой египетской карой – перед перепиской «Privilege du roi» во время перемен.

– Ох, ох! – стонали они, делая кислые рожицы и большие глаза.

– Как скучно, как это невозможно скучно! Черт бы побрал и королей и их привилегии!

Существеннее были наказания, которым класс подвергал виновных, и недаром.

Таким наказаниям подверглась и наша героиня, и, сказать правду, поделом.

Из нее случайно чуть не вышла шпионка и доносчица, в чем она и сама сознается. Вспыльчивая, решительная, она часто увлекалась самолюбием или мстостью и не разбирала средств: аббатство не учило различать хорошее от дурного.

Заметила наша героиня, что госпожа Сент-Еврази ужасно любит знать все, что творится в классах даже в ее отсутствие. Подслушивание, подсиживание, подглядывание, какие она искусно пускала в ход, не удовлетворяли ее стремлению доходить до корней. Сметливая полечка как-то разболтала ей что-то про класс и тотчас заметила, что у святой Еврази сильно разгорелось любопытство и, что называется, слюнки потекли. Наша героиня стала подслуши-

вать и не в одном своем классе и все переносить ей. И «голубые» и «белые» не раз ловили нашу героиню на этом похвальном занятии, и она стала предметом, можно сказать, международным: все классы шушукались про нее загадочно и грозно, сверкая глазами и показывая кулаки.

Надо сказать, что о своих шпионских подвигах наша героиня сама повествует в своих пресловутых «мемуарах».

Малейшее событие в каком-либо из классов могло привести к опасному «заговору всех держав» (классов), как говорили тогда пруссаки в оправдание неудач Фридриха Великого в Семилетней войне, кончившейся лет за восемь до описываемого времени.

Однажды вечером, во время отдыха перед ужином, мадемуазель Нагю, из «белых», умирая от скуки, слонялась по классам и зашла к «голубым», все нюхая и трогая. Елены не было. Нагю подняла крышку ее ящика и обрадовалась маленькой книжке с картинками, сокращенные «Жития святых». Увлечшись картинками, она тут же опустила на скамью и углубилась в чтение. Вдруг она вздрогнула от крика над ухом:

– Разве вы мой друг, что роетесь в моем ящике! Сейчас же отдайте мою книжку, сию минуту! Это моя.

Маленькая наша героиня стояла красная, вне себя от злобы и досады.

– А мне очень занятно читать эту книжку, – твердо отчеканила взрослая Нагю, пристально, в упор смотря на Елену и слегка отодвинув левый локоть, на котором покоились «Жития». – Ведь вы не хотите читать ее сейчас? Прочту и отдам.

Елена покраснела, как рак. Ноздри у нее раздулись: заядлая полька! Она бросилась отнимать книгу. Но «белая» была гораздо старше и сильнее. Она дала Елене увесистую пощечину. Полька разревелась и кинулась жаловаться к госпоже де Сент-Пьер, начальнице «белых». Сент-Пьер, видя горящую щеку девочки, покачала головой, призвала Нагю, велела отдать книгу и просить у обиженной прощения, а за ужином оставаться без десерта.

Все воспитанницы жалели Нагю и не давали проходу Елене, крича ей вслед:

– Переноска! Переноска!

Но пусть сама героиня наша расскажет об этом в своих «мемуарах».

«Все жалели Нагю, – пишет она, – тем более что меня совсем не любили. Все называли меня „переноской” (rapporton) и пели мне в уши:

Rapporti, rapporta,
Vat'en dire a norte chat
Qu'il te garde une place
Pour le jour de ton trepas.

То есть: „Переноска, переноска ходит, переносит. Поди к нашему коту да попроси у него место тебе припасать, когда станешь околевать”».

И все это наша маленькая героиня самым добросовестным образом записала для потомства.

Но мщение «белых» и «красных» на этом не остановилось. Нужна была казнь. И об этой казни опять-таки она сама рассказывает нам:

«Мадемуазель Шуазель и мадемуазель де Конфлян, мои два друга, были в отсутствии; первой прививали оспу, а последняя была в деревне. Поэтому у меня не было никакой поддержки. Обыкновенно, уходя из столовой, воспитанницы бежали по классам, а наставницы оставались позади. Я имела глупость, вместо того, чтобы остаться с ними (тогда никто ничего не мог мне сделать), побежала одною из первых и, на несчастье, столкнулась с Нагю.

– А! Попалась! – прошептала она и дала мне ногой такой пинок по икрам, что я ткнулась носом в пол.

Тогда задние девицы стали прыгать через мое тело; и мне досталось столько пинков ногами, что я была точно вся измолотая. Подошли наставницы и подняли меня. А девицы говорили мне: „Мадемуазель, прошу вас, простите меня, я не видела вас!“ Другие отвечали наставницам, которые бранили их: „Я! Что я? Я не нарочно... Она растянулась на земле, и я ее не заметила”».

Так казнили домашним судом доносчицу.

Ее отослали спать, а наутро госпожа Рошшуар, позвав к себе пострадавшую, сказала:

«Если бы ваши подруги любили вас, то ничего подобного не случилось бы. Должно быть, в вашем характере столько недостатков, что все классы против вас».

«С этого дня, – признается наша героиня, – я уже никогда ничего не передавала наставницам и сделалась такою доброю, что все стали меня любить, и даже Нагю, с которой мы потом стали такими друзьями, что готовы были одна за другую идти в огонь».

Так-то лучше!

С этих пор наша героиня посвящена была во все монастырские развлечения и игры. Самую любимую игрой в аббатстве о-Буа была «охота». Это была «генеральная», всеобщая игра. Ее затевали обыкновенно в праздники и притом в саду: целого дня мало было, чтобы ее кончить, как следует.

Обыкновенно начинали игру «красные». Они назначали охотников и собачников, указывали, какие должны изображать из себя оленей, и отмечали бантиком ту, которую должны травить первую. Младший класс служил обыкновенно в собаках. С необычайно серьезной вежливостью «красные», охотники и псары, отправлялись вереницей к «голубым» просить их соблагovolить поступить в собаки. Иногда собаки капризничали, бросали свое дело в самый разгар игры, и с оленем ничего нельзя было поделаться.

Но это еще не все. Скоро из-за нашей героини произошла целая революция среди затворниц, о чем и повествует наша полька в своих «мемуарах».

«Случилось со мной тогда одно приключение, – пишет она, – за которое я жестоко отомстила. Между большими девицами „красного” класса была некая мадемуазель де Сиврак, благородная фигура, но спазматическое и взбалмошное существо. Как-то все гуляли в саду. Когда возвратились в класс, де Сиврак и говорит мне:

– Я забыла в саду перчатки. Прошу тебя, пойдем по-ищем их.

Я охотно пошла с нею, – продолжает Елена. – Но когда мы зашли за кусты сирени, она вдруг набросилась на меня, опрокинула на землю, схватила ветку сирени и жестоко отхлестала меня. Избив меня, она стремительно убежала. Я поднялась, как могла, и с плачем воротилась в класс».

Но тут нашу героиню осенило вдохновение.

«Если, – говорила я себе, – я пожалуюсь классным дамам, то Сиврак от всего отопрется: она скажет, что дала только мне несколько шлепков, и я опять должна буду очутиться в доносчиках. Что же я сделала? Я собрала самых мстительных девиц „белого” класса и рассказала им мою историю, заметив, что если я не буду отомщена, то „голубой” класс будет совсем в загоне от старших девиц. Наконец, я возбудила их дух, как могла: и решили объявить „красным”, что мы прекратим с ними всякие сношения, если де Сиврак не принесет мне своих извинений».

Браво, маленькая героиня! Она достигла того, чего добивалась. Ею-то и подготовлена была революция, о которой она сама же и расскажет нам.

«В первый день, как настала рекреация, – пишет Елена, – „красный” класс задумал игру в охоту и отправил депутацию просить „голубых” дать им некоторых из них, чтобы сделать их собаками (pour faire les chiens)!»

Наша маленькая заговорщица настояла на своем.

«Никто не захотел идти в собаки, – продолжает она. – Зовут на другие игры: опять отказ. Тогда они спрашивают, что это значит, что такие сурки, как мы, превратились в совершенных

дур... Однако, в конце концов, „красные” пришли в уныние, потому что „красный” класс – самый малочисленный, а „белый” был весь поглощен приготовлением к первому причащению: мы были для „красных” решительно необходимы для игр».

Но это не все. Заговор разрастался: революция сейчас готова была вспыхнуть.

«Мы разломали ящик и скамью де Сиврак (вон до чего дошло!.. Мы разорвали в мелкие клочки бумаги, которые там находились. Потом мы бросили в колодец ее кошелек, портфель и бонбоньерку, которые нашли там. Тогда „красные” девицы сказали девицам де Шуазель и де Монсож, которые явились в этом деле особенно остервенелыми, потому что были моими друзьями, что если они останутся одни, то им надерут уши».

Страсти разгорались. Революция девчонок в аббатстве о-Буа была как бы прелюдией Великой французской революции. И это все натворила наша маленькая героиня. И все из-за того, что трем девочкам пригрозили надрать уши.

«С этой минуты, – пишет наша революционерка, – начался страшный беспорядок в классе. Все, что находили принадлежащим „красным” девицам, бросали в колодец „голубые” девицы или разрывали в клочки; а когда „красные” встречали „голубых” в каком-нибудь углу, то трепали и месили их, как глину. Наконец, это стало известным и классным дамам. Каждую минуту встречали они девочек, избитых до синяков и расцарапанных. Когда они спрашивали их: „Кто это так отделал вас?” – те отвечали: „Красные”. С другой стороны, большие девицы лишились своих книг, тетради свои находили изодранными, игрушки уничтоженными».

Так мстили маленькие большим, как это повторяется во все революции, когда обиженные сильными и богатыми слабые и бедные, потеряв терпение, набрасываются на своих притеснителей и без всякой пощады мстят им.

Дошло все это, конечно, и до родителей бунтовавших пансионеров.

Родители и тех и других жаловались госпоже Рошшуар, говоря: одни – что их дочери все в ранах и изувечены, другие – что у их дочерей все попропало и растерзано. Тогда госпожа Рошшуар пришла в класс и спросила «голубых» и «красных»: откуда у них явилась такая ненависть? Мадемуазель де Шуазель выступила вперед и рассказала мою историю с девицей де Сиврак. Госпожа Рошшуар спросила ее, за что она меня избилла? Та не могла сказать причины. Но так как Рошшуар не сказала ей ничего, то она подошла ко мне, попросила прощения и обняла меня.

Надо было наконец кончить со всем этим, чтобы прекратить революцию. И революция очень быстро и легко была потушена.

Госпожа де Рошшуар сказала, что если это будет продолжаться, то она совсем разделит оба класса, и приказала нам молча обняться. С этого дня мир был восстановлен.

Когда мятеж был счастливо подавлен и гидры революции взаимно перецеловались, случилось еще нечто, уже менее ужасное, даже весело растревожившее весь монастырский муравейник в юбочках.

Однажды, во время рекреации, девицы гуляли в саду. Вдруг голос из-под земли! Оказалось, что он выходил просто из водосточной трубы, собственно из ее отверстия. Труба шла из кухни графа де Бомануар, дом которого примыкал к стенам аббатства. Девицы радостно заволновались. Такое развлечение в их затворничестве, развлечение из того мира, из которого девицы были удалены! Тотчас у отверстия трубы образовалась живая изгородь из девочек, чтобы скрыть переговорщиц от глаз наставниц. Говорил в трубу маленький поваренок графа, Жако. Девицы обещали ему побеседовать завтра, так как рекреация уже кончалась.

На другой день из трубы неслись уже звуки флейты, а в трубу отвечало пение хора детских голосов. Это ли не весело!

Затем каждая из школьниц подбегала к самодельному телефону.

– Как вас звать? – спрашивал невидимый Жако.

– Шуазель!

– А вас? Мортмар?

– Нет! Д'Омон!

– Блондинка или брюнетка?

В течение трех или четырех дней Жако узнавал уже многих по голосам.

– А, мадемуазель Мортмар, Шуазель, Дама, д'Омон!

Однажды завязался такой разговор.

– Что вы там делаете? – спрашивает Жако.

– Полдничаем.

– Черт возьми! Если бы не железная решетка в трубе, дал бы я вам покушать славных штук.

– Попробуйте вынуть ее.

Все так увлеклись переговорами, не исключая сторожевых, что всевидящая и всезнающая госпожа Сент-Пьер незаметно подкралась к девочкам, точно кошка. Девочки рассыпались во все стороны, совершенно как мышки от кошки.

Стояла перед трубой одна Сент-Пьер, со скрещенными на груди руками, укоризненно кому-то качая головой. А из трубы орал Жако:

– Шуазель! Дама! Слушайте! Завтра решетки не будет!

Сент-Пьер бросилась к Рошшуар, написала графу. Граф пришел в ужас, хотел прогнать всех своих слуг и тотчас заделал трубу. В тот же вечер, на перекличке Рошшуар сказала полуторжественно, полуслушливо:

– Поздравляю вас, девицы, с прелестной победой! У вас, очевидно, очень тонкий вкус и весьма возвышенные чувства... Фи! Какой-то поваренок! И отчего же ему не прийти потом, к радости ваших родителей, к вам в гости?

Хотя госпоже Рошшуар было всего 27 лет, однако после матери настоятельницы она была первым и самым влиятельным лицом в аббатстве.

Наша маленькая героиня так рисует портрет этой сестры покойного герцога де Мортмар:

«Высокая, статная дама, красивая ножка, нежная белая ручка, превосходные зубы, большие черные глаза, гордый и серьезный вид, очаровательная улыбка».

Такое описание для десятилетней девочки, как и многое в ее «мемуарах», значит немало: всякий учитель словесности поставил бы ей пятерку.

У госпожи Рошшуар было две сестры, такие же красивые и умницы. Все они постриглись в монахини, когда им не было и пятнадцати лет: по обычаю эпохи родовое состояние герцогов де Мортмар должно было перейти нераздельно к наследнику имени. Жестокий обычай!

Все в аббатстве, особенно в классах, боялись суровой Рошшуар: и наша героиня дрожала и теряла способность говорить перед нею. Бывало, бегут все весело, смешавшись, из-за стола. Явится Рошшуар, как статуя, хлопнет в ладоши, и мигом все на своих местах, и слышен даже полет мухи. Елена всегда бегала. Наткнется на Рошшуар и окаменеет. Придет, как ошарашенная, в класс и жалуется:

– Ах, мадам Рошшуар сделала мне большие глаза!

– Ах ты, дура! – отвечают ей. – Неужели ж она должна делать глазки, когда встречается с тобой?

Так добросовестно говорит о себе наша героиня, не щадя своего самолюбия.

Вот еще несколько черточек, которыми маленькая полька очерчивает сестру герцога Мортмар:

«Об этом (о „больших глазах“) рассказали госпоже Рошшуар. После того, увидав меня, она подозвала меня к себе и спросила, смеясь: „Неужели я возбуждаю страх, когда смотрю на вас?“ Я отвечала ей, что ее глаза так прекрасны, что видеть их – удовольствие, а вовсе не страх. Она обняла меня. Вообще она пользуется любовью и уважением всех пансионеров; и хотя она строга, но справедлива. Мы все ее обожаем и боимся. Она, правда, не ласковая, но каждое ее

слово производит действие невероятное. Ее упрекают в гордости и колкости с равными ей, но по отношению к низшим она добра и гуманна. Она очень образованна и очень талант-лива».
И такой диплом дает ей десятилетняя пигалица!

Глава третья. Жертва светского невежества

В предыдущей главе наша маленькая героиня познакомила нас с одной из матушек класса «голубых» – с матушкой Сент-Батильд, большой мастерицей рассказывать в классе разные занимательные, часто невероятные и вздорные, а нередко «страшные» и «чудесные» истории, которые так любят суеверные люди и дети.

Елена, любившая все чудесное и страшное, была самой внимательной из ее слушательниц и знала наизусть почти все истории матушки, потому более, что обладала необыкновенную памятью.

«Когда матушка Сент-Батильд, – говорит она, – усаживалась, чтобы рассказывать, я запоминала каждое слово из того, что она говорила. А когда она уходила, я повторяла все ее истории, не пропуская ни словечка (*pas une seule syllabe!* – хвастается девочка). Весь „голубой” класс становился вокруг меня, чтобы лучше слышать; и виднелись даже „белые” девицы, которые также слушали меня».

Одним словом, маленькая полька становилась героиней даже среди «почти больших» девиц.

Особенно чудесную и страшную историю рассказала матушка Сент-Батильд об ужасной смерти кюре, батюшки церкви де Сент-Эташ.

Викарий этого кюре, по имени Жирон, часто приходил к матушке Сент-Батильд; и пансионерки заметили, что у этого викария как-то странно вывернута набок шея. Однажды в классе девицы окружили свою болтливую матушку, которая в этот день казалась особенно восторженной. Одна пансионерка сказала ей, что увидела в окно какого-то аббата, у которого шея свернута в сторону. Тогда матушка сказала, что это должен быть викарий из Сент-Эташа, у которого была свернута шея при обстоятельствах необычайных.

«Мы, – говорит Елена, – горячо стали просить матушку рассказать нам эту историю».

Уверив нас, что это – истинная история, она начала:

– Покойный кюре Сент-Эташа, как всем известно, соорудил портал в своей церкви. Для этого ему понадобилось достать пятнадцать тысяч ливров. Он не знал, где их взять. Тогда один из его друзей посоветовал ему обратиться к некоему Эттейлла, о котором говорили, что он творит просто чудеса. Кюре отыскал его и сказал, что, безусловно, нуждается в пятнадцати тысячах ливров, и просил ссудить его этой суммой. Эттейлла, после долгих упрашиваний, сказал, что немного погодя он найдет его в церкви Сент-Эташ. Кюре взял с собой своего викария, аббата Жирона, у которого тогда шея была такая, как у нас с вами. Когда все трое были уже в церкви, Эттейлла начертил вокруг них круг и строго запретил им выходить из него, что бы они ни увидели. Вдруг видят они перед собой страшную, ужасающую фигуру, которая спросила, что им нужно. Они, не колеблясь, отвечали, какая им нужна сумма. Тогда привидение протянуло кошелек, который они и поспешили взять. Эттейлла начал свои заклинания, снова заперев в волшебный круг кюре и его викария. Вдруг они увидели, что из-под земли появилось какое-то чудовище с рогами, которое громовым голосом спросило их, что им нужно. Кюре в ужасе выскочил из заколдованного круга, и чудовище тут же задавило его. Возвратясь в круг, где оставался викарий, чудовище повторило вопрос. Викарий попросил те же пятнадцать тысяч ливров. Чудовище подало деньги, а викарий, принимая их, вытянул несколько вперед голову: в эту минуту он получил удар в голову, отчего и повернулась его шея. Когда заклинания кончились, викарий и Эттейлла хотели было поднять кюре, но нашли его уже мертвым.

Такие страсти рассказывала матушка Сент-Батильд, а девочки, слушая ее, трепетали от ужаса и удовольствия. Еще бы! Такие чудеса! Викарий со свернутой на сторону головой! И досталось же за эту «страшную» историю матушке Сент-Батильд от неумолимой Рошшуар!

Впрочем, не стоит удивляться, что в ту эпоху вера в колдунов и ведьм была уделом монахинь и им подобных. Таинственный Эйттелла занимал такие умы, как знаменитый принц де Линь и герцог Орлеанский. Принц де Линь называет даже этого Эттейлла «великим» (grand Eteilla). Когда этот «колдун», как называет его принц, был в Париже, де Линь приводил к нему герцога Орлеанского; и колдун-шарлатан, не зная в лицо ни принца, ни герцога, предсказывал последнему трон и революцию... Впрочем, тогда это можно было предсказать и без колдовства.

Имя Эттейлла было не что иное, как перестановка букв настоящего имени – Аллиеттэ, который был продавцом картинок и самозванным профессором алгебры.

Но возвратимся к нашей маленькой героине, которая, по крайней мере для нас, гораздо симпатичнее и этого Эттейлла-Аллиеттэ, и кюре из Сент-Эсташа, и викария, аббата Жирона, и даже самой матушки Сент-Батильд, которой госпожа Рошшуар поделом намылила седую голову.

Княжна Елена говорит, что в аббатстве был обычай ежегодно, накануне Святой Екатерины, раздавать пансионеркам «награды» за успехи. Раздавала их обыкновенно какая-нибудь уважаемая замужняя дама. Пансионерки же, каждая, вносили на эти призы по одному луидору. А так как всех пансионерок «голубого» класса было тогда сто шестьдесят две, то и собиралась порядочная сумма. Полагалось по три приза на каждый класс, и распределялись они так: три приза за историю и географию, три – за танцы, три – за музыку и три – за рисование. В этот год раздавала призы герцогиня де ла Валлиер.

«Я, – говорит княжна Елена, – получила первый приз за историю, второй – за танцы. Мадемуазель Шуазель получила первый приз за танцы, второй – за историю. Но так как, в сущности, мы были равных сил, как по истории, так и по танцам, то господин Гюар, профессор истории в нашем аббатстве, и господин Доберваль, первый танцор парижской оперы, как и господин Филипп, преподаватель балета в той же опере, решили наградить нас обеих. Но когда мы получили призы из рук герцогини де ла Валлиер, то госпожа Рошшуар сказала нам, что так как имеется всего один первый приз за историю и за танцы, то мы одинаково заслуживаем их».

В это время в танцах заключался весь интерес и вся сущность жизни нашей маленькой героини. Она танцевала и в аббатстве и вне аббатства в разных аристократических домах на детских вечерах.

И тут же она хвастается (в этом возрасте хвастливость была преобладающей чертой характера Елены):

«И мадемуазель (Луиза-Аделаида Бурбонская Кондэ), и герцогиня Бурбонская являлись на наши балы и так были довольны моими танцами, что всегда спрашивали: когда я танцую? Они дарили мне конфеты».

Елена также принимала участие в домашних спектаклях и опять хвасталась, что, читая одну роль из «Атали», приводила в восторг госпожу Рошшуар.

В аббатстве о-Буа существовал в то время странный обычай. Чтобы торжественнее отпраздновать День святой Екатерины, воспитанницам позволяли брать на этот день все монашеские облачения и должности всех монахинь, начиная от самых низших и кончая высшими, с настоятельницей или аббатисой включительно. Выборы монастырских должностей производились по большинству избирательных голосов.

На этот год игуменьей, или аббатисой, избрана была Елена!

«Для производства выборов нас собрали в зале. Я избрана была аббатисой. Регентшей, или заместительницей своею, я назначила мадемуазель Конфлян – жезлоносицей, мадемуазель де Ведрейль – капелланшей, мадемуазель де Дама, де Мансож, де Шовиньи, де Мортмар и де Пойанн – прислужницами к моей особе. Остальные места распределены были по большинству голосов. Когда это было кончено, мы отправились к госпоже аббатисе, которая, следуя обычаю, обняла меня, сняла с себя крест, возложила его на меня и надела мне на палец игуменское кольцо».

Можно себе представить гордость нашей героини!

«На другой день, – говорит Елена, – я начала исполнение моих обязанностей. Во все время служения большой мессы, пока мы пели, я восседала на троне аббатисы.

Трон был украшен бархатными фиолетовыми коврами с золотыми бахромами, каковые ковры выставлялись только по праздникам. Мне кадили ладаном; я поцеловала дискос, перед которым несли епископский посох. Все монахини слушали мессу... Я подавала святую воду и отпустила прегрешение всем воспитанницам. Смешно было видеть пятилетних или шестилетних монахинь. Пришло много иностранных посетительниц, чтобы поглядеть на нас, на клирос и в столовой, где я задала роскошный обед с мороженым. Все монахини и посторонние посетительницы собрались посредине столовой, чтобы видеть нас за обедом... Между тем ни одна из нас не смела показаться госпоже Рошшуар, которая не могла вынести нашего ряженья... Мы очень забавлялись... Вдруг отворяется дверь и входит госпожа Рошшуар... Все, и госпожа настоятельница, и вся ее свита, задрвав хвосты, мгновенно разбежались (*prient leurs jambes a leur sou*). Вечером мы с большой церемонией отнесли назад аббатисе ее крест и перстень и сняли с себя монашеские одеяния».

Такие-то дурачества происходили в самом аристократическом аббатстве Парижа!

Обойдем, однако, молчанием все те бесчисленные шалости, которые воровским манером проделывали такие разбойницы, как наша Елена и ее закадычный друг, бесшашная Шуазель, о чем с такой любовью и гордостью распространяется наша героиня в своих «мемуарах». Чего тут не было! То они, обмазав деревянным маслом двери, чтобы они не скрипели, бегали как сумасшедшие по ночам по классам и по всем доступным комнатам пансиона, то наливали чернил в кропильню у церковных дверей и наутро, во время службы, лица всех молящихся оказывались татуированными; то подвязывали своими платками языки церковных колоколов, и те не издавали ни одного звука при благовестах, и преступниц выдавали их же платки с метками из начальных букв их имен: Н. М. и I. С.

Приятнее будет остановиться на той части дневника Елены, где она, с трогательной серьезностью, описывает болезнь и смерть принцессы де Монморанси, по-видимому, общей любимицы.

Смерть этой девочки, по словам Елены, была «ужасна».

И в этом, по-видимому, виновата была мать бедной девочки. Ее воспитывали с крайней строгостью. Некая госпожа Сент-Ком, «первая аптекарша аббатства», говорила, что у маленькой Монморанси малокровие и что поэтому она не растет, и уверяла, что если бы больная принимала сок противоцинготных трав, которые очищали бы ее кровь, то ее здоровье поправилось бы. Но глупая мать бедной девочки не хотела ничему этому верить.

Мало того, по своей глупости и светской пошлости, она бессознательно оказалась почти убийцей своей дочери.

Случилась свадьба. Ее сестра выходила замуж за герцога Монморанси-Фессез (*Montmorency Fosseuse*), ее двоюродного брата. По этому поводу больную девочку берут из монастыря, чтобы она веселилась на свадьбе! И не нашлось умного человека, который предостерег бы глупую мать от ужасной ошибки.

Девочка слегла.

«Через шесть месяцев, – говорит наша умница Елена, – девочка воротилась в монастырь, и мы ее не узнали. Можно сказать, что не будучи красавицей, она была очень мила, с большими прекрасными черными глазами, кожа белая, вид благородный и смелый. Но по возвращении худоба ее оказалась ужасной, кожа синеватая, сухой кашель. Она сообщила нам о своем выходе замуж за принца де Ламбеск и что свадьба их должна совершиться предстоящею зимой».

По тринадцатому году уже замужество! Это ли не варварство?

Елена говорит, что девочка – первая во Франции наследница как по знатности, так и по богатству.

Между тем здоровье девочки все ухудшалось, притом чрезвычайно быстро. Мать отправила ее на новые мучения в одно место в Лотарингии, где невежественные знахари терзали ее беспрестанно день и ночь бандажами. Юная страдальца потеряла все волосы и зубы, под мышками у нее образовалась страшная опухоль, которую не могли излечить лучшие врачи Парижа.

А приближалась зима. Мысль о ее замужестве не оставляли, хотя Ламбеск всюду повторял, что он не любит навязываемой ему невесты, и не скрывал отвращения, которое она ему внушала. Пришлось отложить свадьбу на год. Тогда решили отправить девочку в Женеву.

«Она пришла проститься с нами, – говорит Елена. – От нее ничего не осталось, кроме глаз. Я много плакала, расставаясь с нею: она была моя маленькая мама...»

Она просила меня молиться за нее и быть умницей. Мы все ее очень жалели, потому что душа ее была лучшая из всех, и все ее любили. Через три месяца после отъезда я проснулась ночью очень взволнованная и позвала к себе свою бонну. Она пришла, и я сказала ей:

– Ах, мне снилось, что видела Монморанси в белом одеянии и в венце из белых роз.

– Она выходит замуж, – сказала бонна.

В этот момент мне показалось, что я вижу ее большие черные глаза, которые смотрят на меня, и мне стало страшно. Через несколько дней мы получили известие о смерти Монморанси. Она умерла в ту самую ночь, когда снилась мне.

Наконец сообщили о ее смерти и всему классу. Когда в классе объявили о ее смерти, то это было всеобщее горе; я же, в частности, плакала ужасно».

Что так рано угасшая была недюжинная девочка, это мы читаем тоже у нашей маленькой героини.

«В то время, когда ей – Монморанси – было всего восемь или девять лет, управляла аббатством госпожа де Ришелье. Однажды упрямство девочки вывело аббатису из себя, и она в гневе сказала ей: „Когда я вижу вас такой, то готова убить вас!“»

Маленькая Монморанси отвечала: „Это было бы не в первый раз, что Ришелье – палачи Монморанси!“»

Это она намекала на то, что знаменитый Ришелье, герцог и кардинал, правивший почти самодержавно Францией при Людовике XIII, в 1636 году казнил Монморанси, предка маленькой «мамы» нашей Елены.

Глава четвертая. Школьная революция

Возвратимся к нашей маленькой героине. Она – неистощимый повествователь.

Елена рассказывает, как один ничтожный случай, начавшийся с детских шуток и дурачеств, кончился целой монастырской «революцией», как она назвала в упоминаемой нами выше прекрасной монографии Люсьена Перея.

Случилось священнику, дома Ригoley де Жювиньи, прийти в монастырь, чтобы исповедовать одну монахиню как раз в то время, когда воспитанницы возвращались с мессы. Проходя мимо прекрасного и очень смуглого Ригoley, девочки отпускали на его счет очень язвительные шутки.

Елена сознается, что если бы это был их духовник, дом Темин, то ничего подобного не могло бы быть, потому что воспитанницы уважали его и, конечно, как духовника своего побаивались.

В то время в «красном» классе была одна наставница, по прозванию Сент-Жером, которую воспитанницы терпеть не могли и у которой цвет лица был такой же черный, как и у дома Ригoley.

– Вот женить бы их друг на дружке, – болтали некоторые девочки. – То-то пошли бы от них дети, все кроты и арапчата.

«Хотя это была „большая глупость“, – сознается сама Елена, – но эта глупость так понравилась всем, что постоянно болтали про „кротов“ и „арапчат“; и когда в классе начинались споры, то обыкновенно спорщицы говорили:

– Что ты за крота хочешь замуж или за арапчонка?»

Так как эти «глупости» занимали весь «белый» класс, то некоторых набожных воспитанниц это очень возмущало.

– Как это возможно! – говорили набожные девочки. – Ведь приближается время, когда мы в первый раз пойдем к причастию.

– Правда, правда! – соглашались другие. – Это грешно.

– Мы должны признаться во всем на исповеди, покаяться.

– Да, да, смоем с себя этот грех!

А так как всех грешных душ было тридцать, то и решено было составить покаянное письмо, в котором грешницы признаются, что согрешили против смирения и любви к ближнему, и вручить это письмо духовнику своему, дому Темину.

Об этом узнали в монастыре и много смеялись. А госпожа Сент-Жером, понятно, пришла в ярость и возненавидела весь «белый» класс.

Это, разумеется, дошло и до Рошшуар. Это ее очень обеспокоило, и она терзалась мыслью за госпожу Сент-Жером.

Но девочки оказались беспощадными по отношению к госпоже Сент-Жером. Притом представился удобный случай хорошенько насолить ей.

Накануне Дня святой Магдалины пансионерки забавлялись в классе, как могли. Около четырех часов, час дежурства Сент-Жером, девочки сговорились молчать, с чем бы к ним не обращалась ненавистная им «мать будущих кротов и арапчат». Вдруг маленькая де Ластик и маленькая де Сент-Симон о чем-то заспорили, а потом накинулись друг на дружку и учинили драку, словно уличные девчонки. Сент-Жером бросилась их разнимать. Не зная, которая драчунья права и которая неправа, она схватила маленькую Ластик и силой хотела поставить ее на колени. Девочка не повиновалась.

– Мадам! – говорила она. – Уверю вас, что не я начала.

Тогда Сент-Жером пришла в страшную ярость, схватила девочку за шею и с такой стремительностью бросила ее на пол, что та ударилась о плиты носом. Конечно, хлынула кровь.

Увидев кровь, все девочки окружили маленькую подружку и пришли в такую ярость, что грозили выбросить Сент-Жером в окно.

– Вы убили одну из наших подруг! – раздавались детские голоса.

Сент-Жером до того испугалась, что «потеряла голову», по выражению нашей Елены, и побежала жаловаться госпоже Рошшуар.

«Она сделала большую ошибку, оставив без надзирательницы класс именно в эту минуту», – говорит наша милая резонерка.

Мортмар тотчас же вскочила на стол, говоря, что все должны удалиться из класса и до тех пор не возвращаться, пока не добьются условий столь же выгодных, сколько и почетных.

Юные бунтовщицы решили овладеть кухнями и складом съестных припасов и голодом принудить начальство сдаться.

Так и сделали. Кухни занимали один этаж монастырского здания, в этом этаже помещались келарня, мясная и булочная. Бунтовщицы тотчас вошли в келарню – помещение для заведующих кухнями. Там они нашли только госпожу Сент-Исидор и сестру Марту. Их вежливо попросили удалиться, что те с испугу и сделали. Мясная и булочная оказались закрытыми. Хотели было ломать двери, но предпочли спуститься в кухни, которые помещались в самом низу; а одну из бунтовщиц оставили в келарне. Они были несколько удивлены, увидав в кухне много народу и, между прочим, наставницу, госпожу де Сент-Антуан, особу очень уважаемую.

– Чего вы хотите, дети? – спросила она бунтовщиц.

– Мы бежали из класса, – отвечала храбрая Мортмар, – потому что госпожа Сент-Жером проломила голову одной из наших пансионерок.

Испуганная этим известием, госпожа Сент-Антуан не знала, что сказать, и все-таки пробовала заставить девочек возвратиться в класс. Ей отвечали, что это бесполезно. Тогда она оставила их и побежала в класс удостовериться в истине всего слышанного. Госпожа де Сент-Амели, главная смотрительница кухни, хотела выгнать бунтовщиц, но те вытолкнули ее за дверь. Госпожа де Сент-Сюльпис, особа всего шестнадцати лет, хотела было уйти из кухни, но ее не пустили, как свидетельницу того, что бунтовщицы не произвели никакого опустошения в складах провизии. Бунтовщицы хотели прогнать сестер-послушниц, но Сент-Сюльпис объяснила, что сестры должны-де прислуживать за завтраком. Затем бунтовщицы заперли двери, которые обращены были в сторону столовой, и оставили открытыми те, что были со стороны сада.

«Наконец решено было сдаться „на капитуляцию“, – как о том пишет наша героиня, – но только на почетных условиях».

Вот дословный текст «капитуляции», сбереженный в назидание позднему потомству нашей маленькой героиней:

«Соединенные пансионерки трех классов королевского аббатства о-Буа госпоже де Рошшуар, генеральной начальнице.

Мы просим у вас прощения, мадам, за тот поступок, который вынуждены были сделать, но к тому нас вынудили жестокости и неспособность госпожи Сент-Жером. Мы просим полной амнистии прошедшему с условием, чтобы и ноги госпожи Сент-Жером не было в классе, и просим восемь дней рекреации, чтобы успокоиться духом и телом после всего происшедшего. Тотчас, как нам оказано будет правосудие, мы придем, чтобы подчиниться всему, что вами будет определено для нас.

Имеем честь быть с глубочайшим почтением и нежнейшей преданностью, мадам, и проч.

P. S. Мы посылаем двоих из нас отнести это прошение. Если их к нам не вернут, то мы будем смотреть на это, как на знак того, что с нами не хотят входить в сношения. Тогда мы идем открытою силой искать госпожу Сент-Жером и хлестать ее по всем четырем углам монастыря».

Строгонык. Сейчас видно француженок и польку, какими первые оказались во время Великой французской революции и в эпоху «коммуны» при осаде Парижа немцами, и последнее – в дни «повстаний».

Теперь этот ультиматум нужно было отправить по назначению. Но как? Через кого?

Совершить этот смелый подвиг, конечно, вызвалась отчаянная Шуазель. Но как нашей героине отстать от своего закадычного друга?

– Идем вместе! – решила она.

И оба Аякса в юбочках отправились.

«Когда мы были в конце сада, – пишет польский Аякс, – то увидели множество людей: и монахинь и простых сестер, которых любопытство привело туда, чтобы посмотреть, что будут делать пансионерки. Но никто из них не осмелился приблизиться к зданию кухонь. Когда они увидели нас, то подошли к нам и спросили:

– Ну, что делают бунтовщицы?

Мы отвечали, что несем их предложения госпоже Рошшуар.

Мы вошли в ее келью, но она взглянула на нас с таким суровым видом, что я побледнела, а Шуазель, более смелая, чем я, задрожала. Между тем представили ей прошение. Госпожа Рошшуар спросила, в классе ли девицы?

– Нет, – отвечали мы.

– Тогда я ничего от них не узнаю, – сказала она. – Вы можете принести ваши жалобы госпоже аббатисе или кому хотите. Я в это не желаю вмешиваться: вы сделали все, чтобы мне отвратительно стало руководить подобными головами, способными более на то, чтобы из них составить полк в свиту какой-нибудь армии, чем приобрести скромность и кротость, лучшее украшение женщины.

Мы были очень сконфужены, – признается Елена. – Шуазель, которая была более смела, чем я, бросилась к ее ногам и сказала:

– Одно ваше слово всегда будет для меня словом высочайшего закона, и я не сомневаюсь, что никто ничего и не может думать. Но в деле чести – лучше смерть, чем предательство: мы не можем покинуть своих подруг.

– Ну, говорите это, кому хотите, только я вам больше не начальница, – отрезала Рошшуар.

Мы вышли от нее и пошли к настоятельнице, – читаем далее у Елены. – Аббатиса прочла наше прошение, только не при нас Мы услышали только, что она велела позвать Рошшуар; и мы не знаем, что у них там было. Только настоятельница велела нам снова войти.

– Это неслыханно! – воскликнула она. – Ничего подобного не было даже в гимназии! И кто был во главе этого мятежа?

– Это были вдохновенные минуты, – отвечали мы. – Казалось, что у всего класса одна душа!»

Каковы парламентареры!

«Госпожа Рошшуар была тут же, но ничего не говорила, – как бы жалуется Елена.

– Наконец, – сказала настоятельница, – если эти девицы возвратятся, то я готова дать полную амнистию – вот все, что я могу сделать. Что же касается госпожи Сент-Жером, то это – достойная особа, и ненависть ее к вам – это чистая фантазия».

Так кончилось посольство революционерок.

«Тогда мы снова пошли к кухням, – продолжает Елена. – Все, которые нас встречали, расспрашивали о результатах нашего посольства.

– Ну, что нового? – окружили нас подруги.

– Ничего! – печально отвечали мы. Потом рассказали им все, что с нами было».

Голод заставил бунтовщиц обратиться к шестнадцатилетней монашке Сент-Сюльпис. Но она отвечала, что она только помощница при кухне и что у нее нет ключей ни от булочной, ни от мясной.

«Тогда, – говорит Елена, – мы выломали двери и булочной и мясной; и сестра Клотильда, после тщетных отговорок, вынуждена была уступить силе и приготовила нам завтрак, который прошел очень весело: совершали сотни глупостей и дурачеств, пили здоровье Рошшуар. И что доказывало нежность, которую пансионерки питали к ней, это то, что более всего боялись, как бы она не бросила наш класс. После завтрака мы играли во всевозможные игры; и юная „мадам” (16-летняя монашенка!) Сент-Сюльпис, такая веселая и милая, играла с нами. Она говорила всегда, что ей кажется, будто она заложницей в монастыре».

Однако приближалась ночь, и надо было подумать о сне, о постелях. Но революционерки ни под каким видом не хотели возвращаться ни в классы, ни в дортуар. Как же быть? На войне как на войне: спи хоть на голой земле. Так отчасти и сделали, хотя и пожалели маленьких.

«Когда зашла речь о том, где спать, – говорит Елена, – мы устроили себе ложе на соломе, которой довольно натаскали с заднего двора. Было решено, что это ложе надо предоставить Сент-Сюльпис, но она отказалась и посоветовала уложить на соломе маленьких, как наиболее нежных. Так и сделали: маленьких Фитц-Джемс, Вилкье, Монморанси (младшую) и многих других детей семи и шести лет положили на солому, а головы их закутали салфетками и чистыми тряпками, чтобы им не было холодно. Тридцать больших, опасаясь какой-нибудь нечаянности, разместились в саду перед дверью. Остальные остались в кухнях. Вся ночь прошла то в болтовне, то в спанье, как кто мог. Утром готовились провести день таким же образом, и нам казалось, что так должно продолжаться всю жизнь».

Да иначе и не могло казаться. Непокорные головы сдавались на капитуляцию, но из этого ничего не вышло. Оставалось противной стороне, властям, пойти на компромисс. Так и сделали.

«Между тем, – пишет наша героиня и повествовательница, – в монастыре беспокоились, не зная, что мы намерены предпринять потом. Нашлись такие, которые советовали послать к нам стражу, чтоб напугать нас. Но Рошшуар сказала, что это будет истинное несчастье: совершится позор. Лучше просить матерей пансионерок, которых считали предводительницами бунта, прийти на помощь монастырю.

И действительно, явились герцогиня Шатильон, госпожа Мортмар, госпожа де Бло, госпожа Шатле.

Они пришли в наш „стан”, – как выражается Елена, – и вызвали своих дочерей и племянниц. Последние не осмелились сопротивляться, и их увели. Тогда прислали к пансионеркам одну послушницу сказать, что классы открыты, что уже 10 часов, и что те, которые к полудню возвратятся в классы, получают полную амнистию тому, что произошло».

Бунтовщицы долго совещались. Но когда пошли самые упрямые, то воротились и остальные и заняли по скамьям свои места.

«Мы нашли всех наставниц, – говорит Елена, – и в том числе Сент-Жером. Лица их казались очень смущенными. Госпожа Сент-Антуан сказала, что мы заслуживали бы наказания, но что это было – возвращение „блудных дочерей” (а „блудному сыну” при возвращении в родительский дом, как известно, на радостях зарезали даже упитанного тельца). Сент-Антуан была главной наставницей в „красном” классе. Она была из дома Талейранов, и ее очень любили и уважали. Госпожа Сент-Жан была в восхищении от нашего возвращения и говорила, что очень скучала в наше отсутствие. И все наставницы были к нам очень снисходительны».

Но впереди была еще Рошшуар. По «мемуарам» Елены, эта 27-летняя девушка-монахиня представляется нам самой дельной и самой умной особой во всем аббатстве о-Буа. И вот наши бунтари в юбочках ее-то и побаивались.

«Все ужасно трусили часа, когда предстояло явиться пред госпожою Рошшуар, – признается наша героиня. – Это должно было быть вечером, на перекличке. Но мы были сильно удивлены, когда она не сказала нам ни слова о том, что произошло, и мы чистосердечно вообра-

зили, что она игнорирует происшедшее. Что касается меня, когда герцогиня Мортмар вызвала свою дочь, она сказала мне:

– Моя свояченица с удовольствием заступит вам место матери, если вы согласитесь подчиняться ее приказаниям. Она зовет вас, подите, отыщите ее.

– Я тотчас же, – говорит приемная на время дочка герцогини, – последовала за ней, вместе с ее дочерью. Она привела нас в класс, куда и остальные пансионерки не замедлили явиться. Я только вечером опять увидела госпожу Рошшуар, которая взглянула на меня с улыбкой и взяла меня за подбородок, а я поцеловала ее руку. С утра все вошло в обычный строй».

«Революция» кончилась. Но нелюбимая особа, которая была причиной бунта, все еще оставалась на месте. Однако не надолго.

«Госпожу Сент-Жером, – говорит Елена, – оставили в классе только на один месяц, а потом определили на другое место. Ей дали тридцать из тех пансионерок, которые не принимали участия в бунте. Эти несчастные воображали, что много выиграли своим смирением. Одна из них сказала госпоже Рошшуар: „Я, я не участвовала в бунте”. И Рош-шуар отвечала ей с разъяренным видом: „С чем вас и поздравляю!”»

Немного спустя после «достопамятного» (memorable) события, как его называет биограф нашей героини Люсьен Перей, после школьной революции, юные девицы очень заняты были предстоящим замужеством одной из них, именно мадемуазель Бурбон, которой едва исполнилось двенадцать лет!

Елена обстоятельно знакомит нас с этим возмутительным делом.

Однажды маленькая Бурбон воротилась из дому очень печальная и пробыла очень долго в келье Рошшуар. На другой день родители девочки пригласили к себе Рошшуар. Через два дня она воротилась в сопровождении девицы Шатильон, из которых старшая была с ней очень дружна, и сообщила о предстоящем браке маленькой Бурбон с графом д'Аво, сыном маркиза де Месм.

«Мы все окружили ее, – говорит Елена, – и задавали ей сотни вопросов. Ей едва исполнилось двенадцать лет, и к первому причастию она должна была идти через восемь дней, а еще через восемь дней свадьба, после чего она опять должна воротиться в монастырь. Она была необыкновенно печальна. Мы спрашивали ее: неужели ее не радует будущее? Она откровенно и решительно отвечала, что жених ее довольно стар и довольно безобразен, и сказала, что завтра он придет повидаться с нею. Мы просили настоятельницу, чтоб она пустила нас в апартаменты Орлеанов, с которых был вид на двор аббатства, чтоб мы могли видеть будущего мужа нашей подруги. Настоятельница согласилась. На другой день мадемуазель Бурбон, при своем пробуждении, получила огромный букет, а после полудня явился и сам д'Аво. Мы нашли его омерзительным! Когда потом мадемуазель Бурбон сошла в приемную, все говорили ей: «О боже! Как твой муж безобразен! Если б я была на твоём месте, я бы никогда не вышла за него. Ах, несчастная!»

– Ах! – говорила несчастная. – Я потому выхожу, что этого желает папа: но я его никогда не полюблю, будьте в этом уверены.

Решено было, что бедная девочка не должна видеть своего уroda до дня первого причастия, чтобы не волноваться. Но неизбежное зло все-таки совершилось! Четыре или пять дней спустя жертву деспотизма родителей повенчали в келье отеля Гавре.

«Она возвратилась в монастырь в тот же день, – говорит Елена. – Ей надавали игрушек, бриллиантов и роскошную корзину от Болерда. Всего более ее забавляло, когда мы все называли ее мадам д'Аво».

Бедный ребенок! Варварский обычай отдавать замуж младенцев был тогда в полном ходу. Это – перед революцией.

«Она рассказывала нам, – заключает Елена свое повествование, – что после свадьбы она завтракала у своей свекрови, и хотели, чтобы она поцеловала своего мужа, но она ударилась в

слезы и ни за что не хотела целоваться, и свекровь сказала, что она еще дитя. Однажды муж просил ее в монастырскую говорильню, но она притворилась, будто вывихнула ногу, и не сошла вниз».

«Нечего удивляться, – замечает биограф Елены, – если несколько лет спустя госпожа д'Аво, ребенком насильно отданная в жены старому, безобразному прожигателю жизни, встретив в свите виконта Сегюра, младшего брата посланника, увлеченная прелестью его ума и его наружностью, вступила с ним в связь, которая и продолжалась всю ее жизнь».

То же было и с вашей Еленой, но только... на законном основании... Но об этом в свое время и на своем месте.

Итак, наша Елена и девицы Мортмар, Шатильон, Дама, Монсож, Конфлян, Водрейль и Шовиньи готовились к первому причащению.

И вот настал желанный день.

«В этот день, – говорит Елена, – пансионерки одеты были не в ученическую форму, а в белые платья, украшенные блестками и прошитые серебряными нитями. Мое платье было шелковое с серебряными полосками. Девять дней спустя наши платья пожертвованы были в ризницу... После мессы мы пришли в класс. Там сняли с нас белые ленты и дали красные. Весь класс нас обнимал и приветствовал поздравлениями».

Можно себе представить радость и гордость нашей героини в этот знаменательный день. Уже теперь, конечно, она считала себя совсем большой, хоть сейчас замуж. Да это скоро и случилось.

Глава пятая. Монастырские послушания

Чтение «мемуаров» маленькой княжны Масальской невольно наводит на мысль, что это был удивительный десятилетний ребенок, если бы только было вполне установлено, что «мемуары» ее написаны в том возрасте, о котором свидетельствует ее историограф, почтенный Люсьен Перей. Но если даже допустить, что все то, что дошло до нас из ее записок и опубликовано ее историографом, писалось даже на протяжении двух или трех лет, то в таком случае никто, нам кажется, не станет отрицать, что это была более чем недюжинная, а совсем необыкновенная девочка. Правда, в ее рассказах нельзя иногда не подметить значительной доли хвастливости, но это хвастливость чисто детская. Она не умаляет удивления, которое возбуждает в читателе эта милая девочка.

Здесь мы позволим себе сделать некоторое отступление.

Некогда наша русская юная героиня-девочка – «девица-кавалерист» Дурова, поразила Пушкина, когда он познакомился с «Записками девицы-кавалериста». Печатая эти «Записки» в «Современнике», великий поэт с такой горячностью выразился об их авторе:

«С изумлением увидели мы, что нежные пальчики, некогда сжимавшие окровавленную рукоять уланской сабли, владеют и пером быстрым, живописным и пламенным».

Впрочем, кто из нас не читал в свое время «Записок девицы-кавалериста»? Благодаря им у нас всех осталось в памяти вот что, поистине трогательное. Семнадцатого сентября 1806 года Надя Дурова в ночь после своих именин, когда ей исполнилось только шестнадцать лет, эта девочка обрезала тайно лучшее украшение женщины – косу; и это в начале XIX века, когда о «стриженных барышнях», а по галантному выражению некоторых писателей, «девках», и понятия не имели, и когда обрезание косы считалось величайшим позором! Затем Надя нарядилась в казацкий мундир и нацепила на себя отцовское оружие (сабля и проч.), бросив на берегу Камы свое девичье одеяние, чтобы подумали, что она утонула. Наконец, она взяла из отцовской конюшни своего любимого коня Алкида и ускакала ночью догонять проследовавший через Сарапул донской казачий полк. С этим полком Дурова достигла Польши, где и поступила юнкером в уланский коннопольский полк, а потом участвовала в битвах при Гутштадте, где спасла офицера Панина, под Фридландом, при Бородине и т. д.

И вдруг через восемьдесят лет оказалось, что она лгала, лгала бессовестно! Она была не шестнадцатилетняя девочка, а двадцати трех лет замужняя женщина, и уже рожавшая!

Так она нагло обманула не только русскую армию, ее полководцев с Кутузовым во главе, обманула императора Александра I, который собственноручно привесил ей на грудь Георгия, обманула всю Россию и весь читающий мир, обманула и Европу, которая так изумлялась подвигам этой quasi-девочки, русской Жанны д'Арк!

Эту историческую ложь обнаружил почтенный сарапульский священник Н. Н. Блинов.

Блинов, пользуясь церковными метрическими записями («духовные росписи»), сохранившимися в сарапульском Вознесенском соборе, нашел, что отец мнимой «девицы-кавалериста», Дуров, приехал в Сарапул на должность городничего в 1789 году, когда Наде было уже шесть лет. В 1790 году у Дурова родилась и другая дочь, Евгения, восприемницей которой, как значится в метриках, была дочь Дурова, старшая, «отроковица Надежда». Если бы в 1806 году, как уверяет мнимая «девица-кавалерист», ей было только 16 лет, то в 1790 году этой «отроковицы» или еще совсем не было бы на свете, или она только что родилась бы тогда, разом почти, что едва ли физиологически возможно, со своей крестницей Евгенией.

Но это бы куда ни шло!.. Женщины всегда убавляют себе года...

А оказалось, что 25 октября 1801 года «девица-кавалерист» вышла замуж! В предательских метрических книгах сарапульского Вознесенского собора записано:

«№ 44. Сарапульского нижнего земского суда дворянский заседатель, Василий Степанов Чернов, 25 лет принял господина сарапульского городничего, Андрея Дурова, дочь, девицу Надежду 18 лет». Значит: в 1806 году ей было не 16 лет, а 23, и была она не «девица-кавалерист», а «дама-кавалерист», да еще и заседательница нижнего земского суда Чернова!

Но и это еще не все!

Второго января 1807 года мнимая «девица-кавалерист» родила сына Иоанна! Следовательно, 17 сентября 1806 года мнимая девица была на четвертом месяце беременности. И где же ей, беременной, было скакать верхом за казаками в Польшу! Не прилетела же она оттуда на реку Каму родить!

Сколько, значит, лжи!

Но беспощадный Блинов разоблачает еще одну ложь. Мнимая девица разошлась с мужем, возвратилась к отцу в Сарапул, где, как документально доказывает Блинов, лгунья «близко познакомилась с казачьим полковником, и когда он с отрядом вышел к своему полку», мнимая девица «скрылась из Сарапула и, переодевшись в солдатское платье, поступила к нему денщиком-конюхом».

Таким образом лгунья долго тешила наше воображение прелестною иллюзией. Все так любили милый образ шестнадцатилетней девочки, совершившей столько подвигов! Сколько хороших, чистых слез умиления пролито было на страницы ее записок юными читателями и читательницами!.. А она лгала...

Впрочем, не будь этой поэтической лжи, не будь поэтического творчества и с ним иллюзий, у нас, может быть, не было бы ни Гекубы и Андромахи, ни милой истерической Кассандры, ни прелестной Ифигении, ни злополучных Джульетты и Дездемоны, ни кроткой Корделии...

Этим мы не хотим сказать, ни даже намекнуть, будто не вполне доверяем рассказам нашей героини, маленькой Елены, хотя и осмеливаемся предположить, что если она начала свои замечательные «мемуары» десяти лет от роду, то могла их кончить по тринадцатому, четырнадцатому, может быть, по пятнадцатому году, перед своим ранним замужеством. Так они содержательны и обстоятельны!

* * *

Сняв с нашей героини, вместе с другими ее подружками, «белые» ленты и украсив их «красными», монастырское начальство в своем совете, по обычаю всех католических монастырей, назначило каждой из воспитанниц особое «послушание» (obedience) – исполнение разных частных обязанностей по монастырю, по администрации и хозяйству.

Всех «послушаний» было девять: 1. Игуменское (l'abbatial). 2. Ризница. 3. Монастырская говорильня (par-loir). 4. Аптека. 5. Бельевой склад. 6. Библиотека. 7. Столовая. 8. Кухня. 9. Общественные обязанности (communaute).

Юным должностным лицам дали известное число официальных «сестер-послушниц», которые должны были помогать им. Из юных аристократок требовалось воспитать хороших, опытных хозяек, когда они, по выходе замуж, обзаведутся собственными домами. Так, девиц Рош-Аймон и Монбарей поставили наблюдать за салфетками и скатертями в шкафах. Девицы Шовиньи и Нантуилле должны были накрывать на стол. Девицам Бомон и Армалье поручались счетные книги. Девица Эгильон чинила священнические рясы. Девица Лятур-Мобур ведала сахаром и кофе. На девиц Талейран (дипломатка, надо полагать) и Дюра возложили общественные обязанности. Так как девица Вопоэ обладала особым талантом по кухонной специальности, то ее и девиц д'Юзес и Булэнвильер приставили чистить от сору дортуары под наблюдением госпожи Бюсси, непочтительно переименованной воспитанницами в мать Крошки. Девиц Сент-Симон и Тальмой определили наблюдать за работницами, а девицы Гаркур, Роган-

Гемене, Брассак и Гальяр зажигали лампы по приказаниям госпожи Руайом, которую и прозвали мать Сияний.

Наша героиня после исполнения роли «Эсоири» в платье, унизанном алмазами и жемчугами, стоившим 100 тысяч ефимков, должна была переодеться в скромное черное платьице и идти в аптеку готовить ячную воду и припарки.

Хотя, по замечанию историографа Елены, такое воспитание девиц аристократических домов и должно было бы казаться странным, но оно готовило блистательных хозяек у себя дома и совершенных светских женщин, что для француженок дороже всего.

«Я очень желала, – говорит Елена, – чтобы меня не разлучали с Шуазель и чтобы вместе поместили нас в аптеку. Однако меня определили в «аббатиаль» – игуменское служение, а Шуазель – в депо Девиц. Девиц Конфлян, двадцать пальцев которых ни на что не были способны, определили в ризницу».

Но наша героиня выказала особые таланты, состоя при настоятельнице-игуменье.

«Если бы, – говорит она, – со мною была Шуазель, я считала бы себя очень счастливой в «аббатиале», где аббатиса царствовала со всею мягкостью и справедливостью, какую только можно вообразить себе».

Аббатисой в аббатстве о-Буа, как мы упомянули выше, была в то время Мария-Магдалина де Шабрильян. Прежде она была монахиней в аббатстве де Шелль, потом в аббатстве дю-Парк-о-Дам и, наконец, настоятельницей аббатства Нотр-Дам-о-Буа, наследовав этот высокий сан после госпожи Ришелье, сестры знаменитого маршала.

«Я вошла у нее в милость, – хвастается опять наша маленькая героиня, – она находила, что я осмысленно исполняла все поручения, какие она мне давала. Я была проворна. Когда она звонила, я прибегала всегда первой. Я ведала ее книги, бумаги, ее работу. Это была всегда я, когда она посылала искать то в ее бюро, в чем она имела надобность, то в ее библиотеке или в шифоньерке».

Компаньонки Елены в «аббатиале» были особы приятные, судя по портретам их, которые она нам оставила.

Мадемуазель Шатильон, прозванная Татильон, четырнадцати лет, девица важная, педантка, очень красивая, но малосильная.

Госпожа д'Аво, рожденная Бурбон, которую насильно отдали за старого уroda, двенадцатилетняя девочка, миниатюрная, с милым личиком, но глупенькая, хотя и добренькая – совсем дитя.

Мадемуазель де Мюра, названная Жеманкою, восемнадцати лет, красивая, даже прекрасная, остроумная, любезная, но немножко тщеславная.

Мадемуазель де Лорай – очень хорошенькая, спокойная, мягкая, немножко остроумная: она выходит замуж за герцога д'Арембер.

Мадемуазель Маникам, сестра предыдущей, безобразная, добрая, очень остроумная, но жестокая, вспыльчивая.

Не правда ли, что такие ловкие характеристики едва ли способна дать десяти- или одиннадцатилетняя девочка, какую мы представляем нашу милую героиню. Тут видна и наблюдательность, далеко не детская, и умение справиться с тем, что подмечено, и умение выразиться так лаконически.

«Я очень сошлась, – пишет она далее, – с госпожою Сент-Жертруд и госпожою Сент-Сиприен. Эти обе дамы были очень глупы, вечно смеялись и забавлялись. Мадемуазель Маникам очень способствовала веселости этого общества. Госпожа д'Аво (двенадцатилетняя дама графиня) вполне доверчиво говорила нам, что она сердечно ненавидит своего супруга, над чем мы и потешались беспрестанно, и мы жестоко издевались над ее мужем всякий раз, как он приходил повидать ее, ибо на его несчастье окна настоятельских покоев выходили на двор, так что супруг двенадцатилетнего ребенка не мог избежать наших обидно-коварных взглядов».

И сейчас приведенное нами из «мемуаров» Елены, нам кажется, подтверждает наше предположение, что героиня нашего романа составляла свои записки в более зрелом, чем в десяти-, одиннадцатилетнем возрасте, почему она и говорит обо всем в прошедшем времени: «Я очень сошлась... Эти дамы были... Госпожа д'Аво очень доверчиво говорила нам...» и т. п.

На ту же мысль наводит и следующая выписка из «мемуаров» нашей героини:

«Мадемуазель де Мортмар также состояла при настоятельном „послушании“, и не что, как ее присутствие, заставляло бежать от нас скуку и печаль. Мы очень издевались над госпожой де Торси, доказывая, что она не иначе сделалась монахиней, как потому только, что лишь в одном Иисусе Христе находила достойного себе супруга, и еще не сомневалась ли она, что, выходя за него, совершает мезальянс, выходя за неровню».

Такие злые и удачные остроты не по плечу были бы ребенку, в этом не может быть сомнения.

Еще далее в том же роде:

«Госпожа де Ромелэн, вся напичканная греческим и латынью, тоже забавляла нас Мы называли ее старшей дочерью Аристотеля, но она не сердилась на нас, потому что была очень добра».

И опять – «была», «не сердилась», все в прошедшем.

«Но величайшим нашим удовольствием было – усадить жеманку Мюра за клавесин, тогда она пела, а госпожа де Сент-Жертруд, которая была чрезвычайно веселая и поразительно подражала, становилась позади ее и передразнивала все ее мины».

Опять отзывается прошедшим и не детской манерой изложения.

«Такие развлечения (как описанные выше) могли быть приятны очень многим; но, что касается меня, я несколько скучала на „послушаниях“ в настоятельской. Я не знаю почему, но мне казалось, что этот способ – превращать настоятельную в „переднюю“, имел нечто утомительное».

Это совершенно не детский взгляд на то, что должно было окружать такую почтенную особу, как настоятельница королевского аббатства о-Буа.

В этом аббатстве был обычай давать во время карнавала балы раз в неделю.

«В такие дни, – говорит Елена, – мы сбрасывали с себя монастырскую форму, и каждая мать старалась нарядить к балу свою дочь как можно элегантнее. В эти дни к нам приходило много светских женщин и особенно молоденьких, которые являясь не одни, предпочитали эти балы светским, потому что они не обязаны были постоянно сидеть около своих мачех».

Но балы эти сопровождались иногда и безобразиями.

Так, наша героиня говорит об одном таком безобразии:

«Однажды госпожа де Люин и госпожа де Рош-Аймон, находясь на бале, отослали свои кареты и спрятались в помещении мадемуазель д'Омон. Когда настала тишина, они подняли адский шум и продолжали всю ночь. Они поразбивали все кружки, которые находились у дверей их кельи, останавливали всех монахинь, отправлявшихся к заутрене, и, наконец, произвели адский колокольный звон. Настоятельница приказала, чтоб им не причинили ни малейшей обиды, но чтоб ничего не подавали им есть и совсем не позволяли бы им выходить. Когда было 11 часов утра, они очень захотели есть, но им приказано было ничего не давать. Тогда они просили, чтоб им отворили дверь, но госпожа де Сент-Жак, которая была главною портьершею, сказала, что все ключи у настоятельницы. Тогда они послали мадемуазель д'Омон просить настоятельницу приказать отпереть дверь. Настоятельница велела им сказать, что они остались в монастыре без ее позволения и не вышли тогда, когда родные их звали».

Понятно, в какое отчаяние пришли светские безобразницы.

Но их ожидали новые неприятности. Госпожа Рошшуар, хорошо изучившая характер своих воспитанниц, опасалась нового скандала, который мог последовать уже со стороны девиц, как бы в отмщение за оскорбление, нанесенное их *almae matri*.

«Госпожа де Рошшуар, – говорит Елена, – велела со своей стороны сказать дамам (производившим ночные безобразия), чтоб они остерегались попадаться на пути следования воспитанниц, когда они будут идти или возвращаться с мессы или из столовой, ибо она не может отвечать за то, что им не нанесут оскорблений».

И действительно, наша героиня и сознается в этом.

«Правда, мы очень желали, – говорит она, – „укачь” на них (кричать: у! у! у!) и издеваться над ними, и хотели даже облить их водой».

Но с великосветскими скандалистками на этом не покончилось.

Скандалистку Рош-Аймон ожидал к обеду ее дядя, кардинал де ла Рош-Аймон, а скандалистку Люин ждала ее мачеха, герцогиня де Шеврез. Но посланным от этих лиц людям велено было сказать, что веселые (не в меру!) барыньки за хорошее поведение задержаны в монастыре...

Прислали за ними во второй раз сказать, что «ждут».

Тогда настоятельница написала герцогине де Шеврез и кардиналу, что и у Люин и у Рош-Аймон головы совсем не в порядке, что поэтому она может сдать их только на руки родителей.

Обеспокоенная герцогиня тотчас явилась в аббатство, где жесточайшим образом и намылила голову своей падчерице. Ей и отдали обеих пленниц, которые и сочли себя жестоко оскорбленными.

Они же и оскорбились! Такова великосветская логика...

Приютившая же их в своем помещении в ту злополучную ночь девица д'Омон извинялась тем, будто она не знала, что эти дамы спрятались в ее комнатах, но ясно было, что они все сговорились.

Но вот новый скандал на почве любовной интриги.

«Случилась громкая история на другом балу», – пишет наша героиня.

Тут из ее слов видно, что писалось это, когда она была уже в «красном» классе.

«Мадемуазель де Шеврез нашла записку, – пишет Елена, – в которой назначалось свидание виконтессе де Лаваль, которая была на балу и уронила записку. В записке значилось: „Вы обожаемы, дорогая моя виконтесса, положитесь на мою скромность и верность. Завтра в тот же самый час и в том же самом доме”. Найдя записку, девица де Шеврез прочла ее и положила к себе в карман. После бала она показала ее всему „красному” классу. Тогда мы вообразили, что это ей писал тот господин. Наставница, узнав о записке, выразила желание получить ее, и мы думаем, что записка была передана госпоже де Лаваль, потому что она уже не являлась на наши карнавальские балы».

Эта история имела дальнейшие последствия, о которых мы узнали не от нашей героини, а от ее историографа, почтенного Люсьена Перея.

Два года спустя после оброненной на бале любовной записки громкого шума наделал в Париже некий афронт, который потерпела госпожа де Лаваль. Она представлена была к получению высокого назначения сопровождать королеву. Хотя это место и было ей обещано, но она не могла его получить, потому что этому воспротивился де Лаваль. Господин де Лаваль, первый королевский дворянин, был дедушкой той барыньки, которая уронила на балу компрометирующую его имя записку, и наказал ее, не допустив до высокого положения при дворе. Тогда фамилия Монморанси подняла страшный крик в обществе, потому что госпожа де Лаваль была дочерью господина де Булона, главного откупщика. Но после рассказанной нашей героиней истории с любовною запискою на балу и был найден предлог не дать места около королевы такой неосторожной особе, которая роняет на балу любовные записки.

Побывав в свите настоятельница, наша героиня переведена была на другое «послушание», в ризницу.

«В ризнице, – говорит Елена, – было очень забавное общество. Что же касается самих „занятий”, то они мне совсем не подходили, потому что я всегда чувствовала невероятное

отвращение к работе (понятно – плясать веселей). На этом „послушании” находились особы чрезвычайно любезные, и между прочим – девица де Брои и девица де Парои, с которой я очень сошлась, и девица Дюфор, которая была очень веселая и добрый товарищ. Де Парои была хорошенькая, стройненькая и играла на арфе, как ангел (хотя едва ли кто слышал игру на арфе ангелов). Ей было двенадцать лет. Де Брои, несколько постарше, была довольно красива и полна остроумия».

«Совершенно справедливо можно сказать, – продолжает она, – что ризница была сборищем всех историй и всех новостей, и в ней толпились все целый божий день: имелось ли в виду погоревать, рассказать ли о каких-либо происшествиях, все это было там. Находились там две дамы – ризничая – госпожа де Бранвиль и госпожа де Тинель. Первая хотела научить меня вышивать, потому что сама вышивала с невероятным совершенством, но со мной она ничего не могла поделывать. Я не работала, и мое амплуа было складывать наряды, чистить их и помогать госпоже де Сент-Филипп убирать церковь».

Нам кажется, что едва ли какое-либо обстоятельство, специальное изображение школьной монастырской жизни так бы просто и наглядно нарисовало внутреннюю жизнь аббатства, его душу, как простой, безыскусственный, нередко полудетский лепет нашей героини. И потому невозможно оторваться от ее «мемуаров», не исчерпав, не использовав их до конца. В них – целая картина особого мира временных или же постоянных отшельников внешнего, шумного, нередко возмутительного мира. Здесь – свой живой улей пчел с их двумя добрыми матками, с настоятельницею Мари-Магдалиною де Шабрильян и симпатичною умницей, госпожою Рошшуар.

«Каждый вечер, – повествует наша героиня, – не менее двадцати особ собирались в ризнице, чтоб рассказывать о том, что происходило во всех углах аббатства. Но я там не оставалась, потому что уходила к госпоже де Рошшуар, где всегда находила госпожу де Шуазель, девиц де Конфлян, госпожу де Сент-Дельфин, госпожу де Сент-Сюльпис, госпожу де Сент-Эдуард и все, что было лучшего. Госпожа де Сент-Дельфин, сестра госпожи де Рошшуар, обыкновенно протягивалась в кресле у ног сестры за началом плетения кошелька: она ни одного из них не кончала. Я развлекалась, слушая ее, потому что она была веселая, и, хотя ум госпожи де Рошшуар был более развитой и выдающийся, а ум госпожи де Сент-Дельфин частенько как бы засыпал, как и ее особа, но когда просыпался, то делался чрезвычайно приятным. Вообще известно, что ум в доме Мортмар является наследственным. Госпожа де Сент-Дельфин была одною из наиболее красивых особ, каких только можно встретить. Ей двадцать шесть лет. Она величественна. Волосы ее – волосы приятного белокурого цвета, большие голубые глаза, великолепнейшие в мире зубы, очаровательные черты лица, прелестная талия, вид благородный. Она страдала грудью, характер у нее беспечный, и она всецело подчиняется сердцу».

Каков юный знаток человеческого сердца!

Далее она характеризует госпожу де Сент-Сюльпис и госпожу де Сент-Эдуард.

«Госпожа де Сент-Сюльпис была (все была! – в прошедшем) красивая, веселая и любящая. Госпожа де Сент-Эдуард – красивая, любезная и очень романтическая. Кое-что о ней говорили, но госпожа Рошшуар горячо не выражала своего мнения, а если высказывала нечто несмешливое, то делала это так хорошо, как никто. У госпожи Рошшуар читали новые произведения, которые могли быть прочитаны нами без неудобства. Говорили также обо всем, что происходило в Париже, потому что эти дамы проводили все время в „говорильной”, где они принимали лучшее общество, которое знало обо всем».

Судя по словам нашей героини и по всему, госпожа Рошшуар пользовалась в аббатстве огромным влиянием, и собиравшийся в ее келье кружок считался чем-то вроде трибунала, и его боялись все другие кружки, не соприкасавшиеся непосредственно с кружком Рошшуар.

Так, когда в этот вечер Елена воротилась от Рошшуар в свое «послушание» – в ризницу, некоторые бывшие там дамы обратились к нашей героине с лукавыми вопросами:

- Ну что, душенька, много там на наш счет чудес рассказывали?
- О вас не говорили ни слова, – откровенно отвечала Елена.
- Что же там весь вечер делали?
- Вслух читали новые произведения.
- Может быть, не совсем удобные для ушей юных девиц?
- Нет, такие, какие мы сами могли бы читать *sans incon-venient*... без неудобства, – закончила Елена.

И в подтверждение этого она записывает в своих «мемуарах»:

«Я могу сказать, что госпожа де Рошшуар, ее сестра, госпожа де Сент-Сюльпис и многие другие дамы этого общества относились ко всему, что их особенно не интересовало, с таким равнодушием, которое скорее граничило с презрением. Они всегда последними узнавали о происшествиях в аббатстве. Мне казалось (опять прошедшее!), что госпожа де Рошшуар и ее сестра имели совершенно одинаковые манеры, как и тон, которые мы все и переняли у них, – заговорю о тех, которые были вхожи к госпоже де Рошшуар. Светские дамы были очень удивлены нашими манерами».

Мадемуазель де Конфлян выражалась совсем не так, как другие, и всегда в разговоре ее в светских гостиных находили что-то особенное, как будто несколько колкое.

– У мадемуазель де Конфлян, как у княжны Масальской, словно у ос, чувствуется скрытое жало, – судачили о юных девицах в великосветских гостиных.

– Не осиный, а змеиный у них яд, который девицы заимствовали у ведьмы Рошшуар, – говорили Люин и Род-Аймон – те, что в ночь после карнавального бала скандалили в аббатстве и были за то проморены голодом.

– Да и какие манеры, какой тон!

В то время ничто так не ценили французы, как хороший тон – *bon ton* и *bel usage*.

Люсьен Перей говорит, что общество госпожи Рошшуар и ее советы, полные такта и утонченности, которые она преподавала молодым девицам, чудесным образом подготовило их к той роли, которую они предназначены были играть в большом свете. «В наш век, – прибавляет он в пояснение, – в эпоху *de sans gene* и равенства, мы не имеем ни малейшего представления о том, что тогда значили *bon ton* и *bel usage*, ни о той важности, какую придавали всем мельчайшим оттенкам вежливости». – «Вежливость, тон, вкус – это было нечто вроде хранилища сокровищ, которые каждый оберегал с такою заботою, как будто бы они доверены были ему одному, – говорит де Сегюр. Женщины служили главными устоями этих фундаментов общественного украшения».

Возвращаясь к нашей героине, заметим, что ее идеалу, ее идолу, госпоже Рошшуар, готовилось что-то роковое, и что в воздухе как бы чуялась утрата аббатством о-Буа чего-то незаменимого.

«Я никогда не забуду, – говорит Елена, – того, что случилось однажды с госпожою де Рошшуар. Она сказала мне, чтоб я пришла в ее келью вечером. Я пришла. Я нашла ее окруженную бумагами и занятую писанием. Это меня не удивило, ибо это было ее обыкновением, но что меня поразило, это – видеть ее смущенною, ужасно покрасневшею при моем приближении. Она велела мне взять книгу и сесть».

Я показала вид, что читаю, а сама между тем наблюдала. Она писала в ужасном волнении, терла лоб, вздыхала, смотрела вокруг себя неподвижными и рассеянными глазами, как будто мысли ее были за сто миль от нее.

Ей часто случалось писать, как теперь, по три часа кряду. Теперь, при малейшем шуме, она как бы испуганно пробуждалась, что доказывало какое-то ее предубеждение, и у нее был гневный вид, и на лице выражалась какая-то смута. Я ясно видела, что на глаза ее набегают слезы, и мне невольно приходило на мысль, что она не была счастлива. Вся погруженная в это, я глядела на нее. Она держала перед собой бумагу, в руке перо, рот полуоткрытый, глаза

неподвижные, и из них текли слезы. Я так была глубоко взволнована, что и мои глаза застилали слезы, и я не могла удержаться, чтоб не испустить глубокий вздох. Это заставило опомниться госпожу де Рошшуар, она подняла на меня глаза и, видя меня в слезах, тотчас поняла, что я заметила тоску, в которой она находилась. Она протянула мне руку с очень выразительным и очень трогательным движением.

– Дитя мое, что с вами? – спросила она.

Я поцеловала ее руку и залилась слезами. Она меня опять спросила. Я призналась ей, что необычайное волнение, в каком я видела ее, заставило меня подумать, что она страдает от какой-то скорби, и что это растрогало меня в таком смысле. Тогда она сжала меня в своих объятиях и, храня один момент молчание, как бы раздумывая о том, что мне сказать, проговорила:

– Я рождена со слишком живым воображением, и чтоб дать ему работу, я бросаю на бумагу все, что оно родит. Отсюда происходит волнение, с каким, как вы видели, я писала в продолжение многих часов. А так как в числе моих идей немало мрачных и печальных, то они и заставляют меня проливать слезы. Одиночество, созерцательная жизнь поддерживают во мне эту склонность предаваться воображению.

Прозвонили к ужину, когда мы говорили, – закончила Елена. Мы с сожалением расстались. С этого времени нежность ко мне госпожи де Рошшуар удвоилась еще, и ничто не сравнится с тем нежным участием, которое она мне внушала».

Но никогда Елена не ожидала, что в скором времени ожидало ее доброго гения.

Глава шестая. Гость с далекой родины

Вся поглощенная внутренней жизнью своего отдельного мира, своими «послушаниями» и личными интересами и прислушиваясь к шумной жизни современного Вавилона, отголоски которой свободно проникали в стены аббатства, превратившись совсем в парижанку, наша героиня, казалось, навсегда позабыла далекую родину, свою Польшу, где, как иногда вспоминалось ей точно во сне, она в детстве видела только «москалей», русских солдат, «a mine farouche dont l'aspect leur faisait peur».

Но иногда в редкие часы одиночества ей вспоминалась милая, далекая Польша и вся в зелени и цветах поэтическая Украина, куда по веснам она ездила с отцом в одно из их имений, где от зари до зари звучали чудные мелодии украинских хоров, когда чарующие девичьи голоса выводили свои весенние песни, «весняночки».

Глубоко в детскую душу Елены запал напев одной такой грустно-нежной «весняночки»:

Ой, весна, весна да весняночка,
Де твоя дочка да паняночка?
Десь у садочку шие сорочку,
Шовком да биллю да вышивае,
Своему милому пересылае:
Надавай и що-недильеньки,
Споминай-же мене що-годиньки.
Шовком я шила, и биллю рубила –
Жаль мени казака, що я полюбила...

Рано утром проснувшись и лежа в постели, Елена иногда тихо напевала эту нежную, грустно-чарующую украинскую мелодию, вся переносясь в далекий поэтический край.

– Что это ты поешь, милая Елена? – доносится из соседней комнаты голос приятельницы, Шуазель.

– Вспоминаю далекую Польшу и Украину.

– Что это за Украина, страна такая?

– Да, чудная страна, страна дивных мелодий и девичьих слез.

– Почему же она страна девичьих слез, милая Елена?

– Потому что там такой обычай: каждую весну молодые парни уходят на юг, на границы отражать нападения на Украину и Польшу крымских и белгородских татар и нашествие турок, и не все парни возвращаются на родину, сложив свои головы в степях, где их тело обыкновенно терзали степные орлы и хищные звери... Оттого молодые украинки и оплакивали их. Это страна свободы, прекрасный край wolności i niepodległości, и только теперь москали и немцы раздирают этот прекрасный край.

– Кто же эти москали, тоже народ такой?

– Народ многочисленный и суровый: это русские.

– А! Русские, слышала о них... У них еще императрица Екатерина.

– Да, Екатерина, которая в дружбе с Вольтером, Даламбером и другими светилами человечества, а между тем сама гасит свободу в милой Польше...

– Девочки! Пора вставать, – раздается голос Елениной бонны.

В такие грустные минуты вспоминается нашей героине их прадедовский замок на Украине... Длинная прямая аллея высоких и стройных пирамидальных тополей, «раин» (райских деревьев) далеко-далеко тянется от замка... На селе, над соломенными хатками хлопков, стоят,

словно часовые, на своих гнездах аисты, и оттуда немолчно несется грустно-чарующая мелодия:

Ой, весна, весна да весняночка,
Де твоя дочка да паняночка?..

И тогда тихие слезы невольно скатываются с длинных ресниц Елены.

– Верно и я из страны девичьих слез, – грустно улыбается она.

Вспоминается ей мужественное лицо отца, которого она так любила теревить за длинные усы.

– И его давно нет на свете... И это благородное тело, может, расклеывали степные орлы...

Приходит на память и старый, слепой kobзaрь с его бандурой... Жалобно тренькают тихие струны бандуры... Дребезжит плачущий старческий голос:

Ой у святу ж то було недило,
Не сызи орлы заклекоталы,
Як то бидми бесчасни невольники
У тяжкий неволи заплакали,
На колина упадали,
У гору пидиймали,
Кайдалами забряжчали,
Господа милосердного прохали та благали...

– А жив ли наш гайдук Остап, папин шталмейстер, что учил меня когда-то на Арапе ездить?.. Милый Арапчик! Как он бережно носил меня на себе...

И вдруг входит старая сестра послушница:

– Барышня, меня послала за вами госпожа де Рошшуар.

– Зачем? Где она?

– В говорильной, в «парлуаре». Из Польши, от вашего дяди, князя-епископа, прислан посланец, и должен вас видеть.

– Он в говорильной?

– В говорильной, барышня. Он привез письма ее святости, госпоже аббатисе и госпоже де Рошшуар. Но он совсем немой.

– Как немой!

– Бормочет что-то, но никто не понимает.

Елена, несколько взволнованная, поспешила в говорильную...

Что это! Не сон ли? Перед нею старый, седой Остап!

– Остап! – удивленно, вся ошеломленная, прошептала Елена.

– О ясная панна! – радостно проговорил старый гайдук по-польски. – Какая вы большая паненка!

Рошшуар ласково улыбалась, глядя на свою любимицу.

– Кто он? – спросила она. – Слуга вашего дома?

– Да, он наш гайдук, был шталмейстером у моего папы и маленькую учил меня на Арапе ездить.

– Он привез нам письма от вашего дяди, – сказала Рошшуар. – В письмах он благодарит достойную аббатису и меня за попечение о вас... Есть письмо и вам... По уставу аббатства я должна была его предварительно прочесть, а потом вручить вам... Но я не могла прочесть: оно, вероятно, писано по-польски. Вот оно.

И Рошшуар подала распечатанное письмо Елене.

Старый гайдук, хлопая глазами, не сводил их со своей красавицы паненки.

– Ты хочешь говорить со мной, добрый Остап? – спросила Елена по-польски.

– О ясная панна! Я не осмеливаюсь и просить вас о такой высокой чести, – взволнованно отвечал старый гайдук.

Елена вопросительно посмотрела на Рошшуар. Та догадалась.

– Вам хотелось бы поговорить со старым слугой? – спросила она.

– О да, мадам! – оживленно отвечала наша героиня.

– Так сведите его к мадемуазель Елене, – сказала Рошшуар бонне своей любимицы, которая была тут же.

– Пойдем ко мне, добрый Остап, – весело заговорила Елена. – Вспомним старину, а то я почти забыла родной язык.

– О нет, ясная панна, слово гонору, вы говорите прекрасно, – обрадовался старый гайдук, следуя за Еленой и ее бонной.

Все удивляло старого жолнера-наездника, когда они пробирались по переходам аббатства. Но вот они и в помещении нашей героини.

– Садитесь, добрый Остап, – торопливо говорила Елена, пробегая письмо дяди. – Рассказывайте о дяде епископе, обо всех, кто меня помнит и кого я помню.

Старый жолнер не решался было сесть, но Елена усадила его на ближайший стул.

– Что в Польше, в Вильне, в Варшаве, на Украине? – забрасывала его вопросами наша героиня.

И Остап мало-помалу разошелся.

– Что Польша! Москали да немцы хотят снять с нее последнюю рубашку, так что я не вытерпел и ушел куда глаза глядят, когда вы с князем-епископом и с вашим братцем уехали из Вильны. Сначала пристал было к запорожцам, с татарами воевал, а потом, чтоб насолить москалям, пристал к их царю, когда он появился на Яике.

– К какому царю, Остап? – спросила Елена.

– К императору Петру Третьему, ясная панна.

– Но ведь в России императрица Екатерина.

– Она-то его и ссадила с престола, ясная панна, а он долго-долго скитался тайно, и потом, когда яицкие казаки восстали против своих начальников из москалей, он их и повел добывать себе свой престол. Пошел и я за ним, ясная панна, и залили-таки мы москалям, как говорят у нас на Украине, залили сала за шкуру.

Елена жадно слушала. Она сама не любила и боялась русских.

– Я пристал к царю раньше других, когда он только открылся яицкому казаку Кожевникову, – продолжал старый гайдук, увлекаясь воспоминаниями. – Там ему, на одном степном хуторе, изготовили знамена, и так около двадцатого сентября тысяча семьсот семьдесят третьего года он с отрядом человек в триста подступил под Яицкий городок.

«Это как раз в тот год, когда я начала писать свои „мемуары”», – подумала Елена. – Ну?

– Тогда из города против нас выслали человек пятьсот казаков и пехоту с пушками. Едва мы сблизились, как царь, передав мне в руки манифест, велел поднять его над головою и прочесть казакам вслух. Но их командир не позволил читать, хотя казаки и требовали. Тогда казаки взбунтовались, и целая половина их передалась нам и, ухватив за узды лошадей несогласных, силою перетащили к нам. И тогда началась казнь захваченных – одиннадцать человек царь велел повесить, и все больше сотников и пятидесятников.

– Скорая же расправа, – заметила Елена.

– Чего ж еще ждать, ясная панна: надо было торопиться. На другой день они пошли к Илецкому городку. Царь потребовал сдачи. Но атаман города не сдавался, и тогда его же казаки связали молодца и привели к царю. Царь и этого повесил. Тут мы целых три дня праздновали

победу – гуляли по-запорожски. Вина, ясная панна, и всего было вдоволь... Тогда двинулись дальше и на пути встретили команду под начальством капитана Сурина. Царь и этого повесил, а команда его, пристав к царю, тут же сочинила песню и распела ее в команде:

Из крепости из Зерной
На подмогу Рассыпной
Вышел капитан Сурин
Со командою один...

Старый гайдук так увлекся, что забыл, кажется, где он. Елена слушала его, немножко бледная.

– Подступили мы к крепости Татищевой, – продолжал Остап. – И эту взяли. Жестоко расправился царь с мятежниками. Командиры крепости, Елагин и Биров, защищались отчаянно. Но ничто не помогло, их схватили. Бирову тотчас отсекали голову, а с Елагина-толстяка пана содрали кожу, как с барана...

Елена вздрогнула. Остап этого не заметил и продолжал:

– С Елагина обрезали жир, и наши раненые мазали им свои раны.

– Jesus Maria! – тихо прошептала Елена.

– Жену Елагина изрубили, а дочь-красавицу привели к царю. Царь обомлел при виде такой красоты и взял ее к себе в наложницы.

– О боже! Какое злодейство! – всплеснула руками Елена. – И это царь, помазанник Божий!

– Что делать, ясная панна! Сколько же и его заставили страдать!

– Все же так поступать с девушкой! Это ужасно!

– Точно, ясная панна, нехорошо это... Но он царь. Войско его росло не по дням, а по часам... Ах, ясновельможная панночка, сколько было битв, пока мы дошли до Казани... А войско царя все прибывало... Не диво! Половину государства отхватил. Оставалось только взять Москву и Петербург. Но тут нам не повезло.

– Это за его злодеяния, – уверенно сказала Елена.

– И точно, ясная панна... Откуда ни возьмись, немец Михельсон, и ну нас гонять. Мы повернули вниз по Волге, по нагорному ее берегу, везде истребляя панов-бояр. Да хлопы и без нас это усердно делали. В какую панскую усадьбу ни прибежим, а уж на воротах усадьбы висит пан с женою, а по бокам их дети. Дома разграблены, вино из погребов выпито...

– Это ужасно, ужасно! – шептала Елена. – И ты, такой добрый, и тоже с ними...

– Ах, ясная панна! А что москали у нас, в Польше, делали!

– Да все же ужасно, Остап.

– Ох, ясная панна, что поистине было ужасно, так это то, что мы видели на Волге. Хлопы по всему Поволжью, от Казани до Нижнего и ниже Казани, прослышав, что царь идет на Москву против панов, сами стали убивать и вешать своих господ, и почти в каждом селе строились плоты, а на них ставились виселицы, и на эти виселицы вешались паны или жестокие носесоры, и пускались эти плоты по Волге. Плывут эти плоты, а хищные птицы, вороны, ястребы, шульпики стаями вьются над плотами, каркают, клекочут, дерутся из-за трупов... Волосы становились дыбом, на что я не трус...

– Ну и чем же кончилось все? – спросила Елена, потрясенная до глубины души.

– Разбили нас ниже Царицына, ясная панна... Мы с горстью верных бежали за Волгу, в степи, потом нас доконали: царя выдали изменой, посадили в клетку, как зверя, а я – до лясу, ясная панна, да на Украину, где я учил вас на Арапе ездить.

– А что Арап? Жив?

– Жив, ясная панна, теперь на конюшнях князя-епископа.

- А наш замок на Украине?
 - Целехонек, ждет ясную панну.
 - И аисты все так же водятся на хатах наших хлопков?
 - Все по-старому, ясная панна.
 - И украинские девушки все так же поют свои милые «веснянки»?
 - О! Ясная панна и «веснянки» помнит!
 - Еще бы! Ах, золотое детство! Милая, певучая Украина!
- И Елена тихо запела:

Ой, весна, весна да весняночка.
Де твоя дочка да паняночка?..

- О, ясная панна и голос украинских хлопков помнит. – осклабился Остап. – А помните, ясная панна, какую «весняночку» вы, бывало, изволили напевать, когда я седлал вам Арапа?
- Забыла, добрый Остап, забыла.
- А эту.

Ой пид вербою, пид пожилою.
Там стоять кони да посидлани,
И посидлани и понуздани,
Тилько систы да поихахы...

- В это время зазвонили к ужину, и Елена отпустила Остапа, сказав:
- Еще увидимся.

Глава седьмая. Маленький сатирик в юбочке

Наконец, после ризницы героиня наша переведена была на «послушание» в монастырское депо.

«Я сильно плакала, – говорила она, – когда меня поместили туда, потому что все монахини там были старые ворчуньи, исключая госпожу Концепсион, которая происходила из дома де Мэйбуа: она держала себя с достоинством. Видно было, что дама хорошего происхождения. Она обладала огромным знакомством со всем, что касалось аббатства, и было приятно слышать, когда она рассказывала старые анекдоты, касавшиеся монастыря. У госпожи Концепсион была мания петь романсы, но я никогда не слыхала голоса более гнусавого. Каждый день она пела нам романс «Judith's» или «Gabrielle de Vorgy» и многие другие. Несколько раз, чтоб нас развлечь, она показывала нам редкие и любопытные вещи: в депо сохранялись письма королевы Бланки Анны Бретанской и многих других французских королей и аббатис монастыря; письма де Пой де Левиля к его тетке, настоятельнице аббатства о-Буа, когда он находился при армии во время смут царствования Карла Седьмого».

Не забывает наша героиня и в депо дать нам портреты и краткие характеристики пансионеров депо и зло посмеяться над ворчливыми старушками.

Мы опускаем описание самого депо с его выдвигаемыми ящиками архивов, библиотеки депо и проч.

«Пансионерки, служившие в депо, – пишет Елена, – были: девица де Комон, красивая, умная, тринадцати лет; девица д'Армэлье, четырнадцати лет, отвратительная лицом, жеманница, но доброе создание; девица де Сент-Шаман, безобразная, с непропорционально худыми икрами, восемнадцати лет; девица Бомин, безобразная и хромая, но очень добрая девушка; девица де Сиврак, девятнадцати лет, благородная фигура, но особа одержимая судорогами и немножко глупая (не та ли это Сиврак, которая хлестала нашу героиню сиреневым прутом, чтобы она не сплетничала); девица де Леви, добрая, бледная, неумная, четырнадцати лет.

Я уже говорила, – продолжает Елена, – о госпоже де Мельбуа; другие депозитерки были: госпожа Сент-Ромуальд – молодая ворчунья; госпожа Сент-Жермен – старая ворчунья также; госпожа де Сент-Павэн, сорока восьми лет, никогда не говорит – очень скрытная».

А вот опять просыпается сатирик в юной польке.

Весь день, – говорит она, – мы проводим, Комон и я, язвя весь этот люд. Госпоже Сент-Ромуальд было двадцать четыре года, а госпоже де Сент-Жермен семьдесят пять. Весь день они постоянно спорили то о чем-нибудь одном, то о другом – просто до невероятности. Они постоянно путали в своих счетах и одна другую обвиняли. Смешно было видеть их с лупами, с носами над огромными архивными книгами. Они проводили всю свою жизнь за чтением старых писем, которые когда-либо получали настоятельницы аббатства о-Буа, а когда хотелось знать что-либо о прошлом, они никогда ничего не знали.

Однажды (сейчас выскочил сатирик в юбочке) госпожа де Сент-Ромуальд ссудила терку для сахара госпоже де Сент-Жермен, которая ее потеряла или забыла. В воскресенье, во время большой мессы, госпожа Жермен вспомнила о терке, и так как они стояли рядом, то госпожа Сент-Ромуальд наклонилась к госпоже де Сент-Жермен и вполголоса говорит:

– Вы не возвратили мне мою терку?

– Какая там ваша терка?

– Как! Разве я не ссудила вам мою терку?

Госпожа де Сент-Жермен (поясняет сатирик), мучаясь, что такой вопрос предлагается в церкви, шепчет:

– У меня нет вашей терки.

Другая (опять сатирик!), гневная, возвышая голос:

– Отдайте мне мою терку!

– Они продолжали, – говорит Елена, – так дико и так громко, что пансионерки покатались со смеху.

Настоятельница, удивленная, спросила, что там такое, и когда ей сказали, то она приказала передать этим дамам, чтоб они успокоились и что она купит им каждой по терке; но, возвратясь в депо, они продолжали дуться друг на дружку целых восемь дней, и всякий раз, когда они говорили о сахаре или о чем-либо ссужаемом, то госпожа де Сент-Ромуальд тотчас рассказывала историю о своей терке, что она у нее была одна, и что она ее ссудила, и что ее у нее потеряли. Тогда госпожа де Сент-Жермен говорила, что это неправда, – и мы забавлялись тем, что постоянно заставляли их спорить».

Наконец кончилось скучное «послушание» в депо, и наша героиня простилась и с ворчливыми старухами и с историей о пропавшей терке. Но ее ждало новое «послушание» – в столовой, где она должна была прислуживать пансионеркам за столом, накрывать на стол с помощью сестер-послушниц, приводить в порядок столовую, наблюдать за посудой. Однако это не мешало ей упражнять свои «таланты», как выражается почтенный Люсьен Перей. Этими талантами невысокой ценности, с философской точки зрения, были «танцы»! На развитие этих сомнительных «талантов» убивалось лучшее время, которое могло бы быть употреблено на что-либо более благородное.

«В это время, – не без гордости хвалится наша героиня, – я танцевала в балете „Орфей и Евридика“, который мы исполняли на нашем прекрасном театре. В нем было очень много декораций, он находился в углу сада, недалеко от старой заразной больницы. Всех нас было пятьдесят пять танцующих. Девушка де Шуазель танцевала Орфея, девушка де Дама – Евридику, я – Амура, девушки де Шовиньи и де Монсож – двух прислужниц. Было десять участниц в погребальном шествии, десять изображавших фурий, десять следовавших за Орфеем и десять – за Амуром.

В эту зиму мы играли также „Полиевкта“ в монастырском же театре. Я играла Полину, девушка де Шатильон – Полиевкта и девушка де Шуазель – Севера. Сошло очень хорошо. Вскоре после того мы разучивали „Сиду“. Я играла Родрига и, наконец, Корнелия в „Смерти Помпея“».

Наша героиня не могла не гордиться своими сценическими успехами, потому что о них говорил «tout Paris!» – точно не о чем было больше говорить, потому особенно это странно, что подпольно уже готовилась революция. Это были танцы в вулкане...

Юные актрисы так увлекались танцами и сценой, что большую часть свободного от «послушаний» времени посвящали этим пустым занятиям, постоянно то репетируя роли, то прыгая. Благосклонная же публика-зрители – из родителей пансионерок и их друзей. Так забавлялся высший парижский свет, пока не грянул гром...

Нашей героине предстояло новое, после депо, «послушание».

После депо и после двухмесячного «послушания» в столовой наша Елена роль почетной горничной при столовой должна была переменить на роль вроде как бы благородной дворничихи. Это было «послушание» у ворот монастырской ограды, на каковой почетной службе Елена пробыла пятнадцать дней. И здесь она говорит о своих товарках по «послушанию». Их было пять. Девушка де Морор, четырнадцати лет, довольно хорошенькая, но глуповатая, без всякого остроумия. Девушка де Нагю, семнадцати лет, хорошенькая и любезная. Девушка де Шабрильян, безобразная, неостроумная, четырнадцати лет. Девушка де Барбантанн, пятнадцати лет, с лицом мальчика, большая повеса, хорошенькая, очень хорошо танцевала.

«Наша обязанность была, – говорит Елена, – сопровождать привратницу, когда она шла открывать ворота монастырской ограды. Тут было много хлопот: то учителя входили, то доктора, то директора, так что к вечеру обе привратницы де Фумель и де Прадин очень уставали. Первой мы не любили, потому что она была язвительна, суха и зла.

Башня, куда я была после помещена, мне больше нравилась: откуда весь день видишь множество народу. Я находилась там с Омон, Коссэ и Шалэ, все любезные.

– Две башенные, госпожи де Кальвиссон и де Нюгарэ были сестры. Последняя очень любила чтение и была очень образованная особа».

Тут наша героиня говорит, с какими трудностями приходилось исполнять то башенное «послушание» и как оно было утомительно, хотя и забавляло их. Не забыла Елена дать портреты своих товарок и по башне.

«Омон было восемнадцать лет, с талантами (в танцах?), с умом (в ногах?..) Она была очень хорошенькая и через несколько времени вышла замуж.

Коссэ не было и двенадцати лет. Она была некрасива, но исполненная грации и очень деликатная. Много позже она вышла замуж за герцога Мортмара.

Госпожа д'Аво (это та, что двенадцатилетней девочкой была обвенчана со старым уродом), о которой я уже говорила, была милая, добрая, но глуповатая, даже *fort bete*.

Наконец, девица де Шалэ очень хорошенькая, пятнадцати лет, часто больная».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.